

**СДЕЛАНО
В СССР**



**ЛЮБИМЫЙ
ДЕТЕКТИВ**

ОПОЗНАЙ ЖИВОГО

Сергей Абрамов



Сергей Александрович Абрамов
Опознай живого
Серия «Сделано в СССР.
Любимый детектив»

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=43322367
Опознай живого: Вече; Москва; 2016
ISBN 978-5-4484-7942-7

Аннотация

В книгу известного писателя Сергея Александровича Абрамова (1944 г. р.) вошли три его остросюжетные повести – «Опознай живого», «Сложи так» и «В лесу прифронтовом». Первые две рассказывают о борьбе органов госбезопасности с агентами иностранных разведок, заброшенными на территорию нашего государства во время Великой Отечественной войны. Третья – о неожиданных экспериментах молодых физиков с четвертым измерением, в результате которых в лесу на Брянщине появился отряд гитлеровцев из 1942 года... Ученым приходится вступить в бой с фашистами.

Содержание

Опознай живого	5
Одесса	5
Я и Галка	5
Паломничество	11
Я и Тимчук	18
Отплытие	28
Ялта	34
Знакомство	34
Я и Пауль Гетцке	43
Я начинаю розыск	57
Сочи	69
Я разговариваю с Одессой	69
Я разговариваю с Москвой	77
Я рассказываю Галке	89
Сухуми	97
«Пошел купаться Веверлей»	97
Два просчета Пауля Гетцке	104
Снимаем маски	116
Конец ознакомительного фрагмента.	122

Сергей Абрамов

Опознай живого

© Абрамов С.А., 2016

© ООО «Издательство «Вече», 2016

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2019

Сайт издательства www.veche.ru

Опознай живого

Одесса

Я и Галка

Я выхожу из ванной двухместного номера приморской гостиницы и почему-то поглядываю на потолок. Он так высок, что цепочку люстры с молочно-матовыми фонариками следовало бы удлинить по меньшей мере на метр. Такие величественные готические палаты я видел до этого только в застенчивых парижских переулочках в патриархальных отелях для богатых негоциантов.

Я надеваю у зеркала белую водолазку с красной каемкой у шеи и серый твидовый пиджак.

– Старейший ловелас с Больших бульваров, – критически замечает Галка.

– Не язви. Принимай душ, и пойдем.

– Душ меня не устраивает. Нужна ванна. Иди один.

– Жаль. А может, без ванны?

– Иди, иди. Я уже была в Одессе в пятьдесят первом и шестьдесят восьмом. Все то же, только пообтерлось и постарело.

– А я не был здесь с сорок пятого, когда Седой вызвал меня в Москву.

– Значит, начнется паломничество по святым местам?

– Это как смотреть, Галочка. Для меня они действительно святые.

– Знаю даже, с чего начнешь.

Я молчу.

– Конечно, с трехэтажного дома на углу Свердлова и Бебеля! – смеется Галка. – Так он не постарел – одряхлел. Черная дыра вместо подъезда. Двери почему-то сняты, а перила на лестнице еле держатся. Я и на дворе была. Он кажется совсем крохотным. Знаешь, как уменьшается пространство детства, когда взрослеешь? И старого каштана посреди уже нет, и дворовая наша Швамбрания вспоминается с жалостью. Лучше не ходи, кавалер Бален-де-Балю.

Так меня окрестили в звонких ребяческих играх, по имени владелицы частной женской гимназии, в которой после революции обосновалась наша советская трудовая школа. Мне очень нравилось это роскошной звучности имя, особенно после того, как я прочел Ростана в переводе Щепкиной-Куперник. Кавалер Бален-де-Балю! «Дорогу, дорогу гасконцам, мы с солнцем в крови рождены!»

– Для полковника это, пожалуй, чуть-чуть сентиментально, – иронически добавляет Галка, – особенно когда ему уже за пятьдесят.

А тогда мне было двадцать два года...

Мы собирались на чердаке над Галкиной комнатой, куда можно было проникнуть сквозь дыру в потолке из бокового чуланчика. Нас было пятеро, сгрудившихся вокруг старенького, починенного мною радиоприемника, хрипловатым шепотом передававшего согревающие сердце слова: «От Советского Информбюро...» Пятеро выросших на одной улице, в одном дворе и в одной школе: я, недоучившийся юрист-первокурсник, работавший наборщиком в типографии «Одесской газеты», школьница Галка, дотянувшая до десятого класса и вместо вуза поступившая официанткой в немецкий ресторан на углу Преображенской и Греческой, Володя Свентицкий, перворазрядник по боксу в полусреднем весе, укрывшийся от румынской мобилизации в артели грузчиков на станции Одесса-Товарная, и его брат Гога, бывший пионер, ныне чистильщик сапог на Приморском бульваре. А чуть в стороне примостилась Вера, когда-то библиотекарь городской библиотеки имени Ивана Франко, превращенной в общежитие для гарнизонных солдат из охраны губернатора Алексяну, – книги сожгли, персонал разогнали, книжные стенды перешли под солдатские койки. Веру тогда стараниями Галки удалось устроить кастеляншей в соседний с рестораном отель «Пассаж» на той же Преображенской. Она распределяла и сдавала в прачечную постельное белье для гостиничных постояльцев – офицеров немецких резервных частей, задерживающихся в Одессе перед отправкой на фронт.

– Единственная из нас, кому не удалось дожить до Побе-

ды, – говорит Галка.

За четверть века супружеской жизни мы уже привыкли к семейной телепатии, и я понимающе подхватываю:

– Почему единственная?

– Я имела в виду нашу инициативную пятерку. Все выжили, только жизнь разбросала.

Галка уже не думает о ванне. Запахнув халатик, она тянется к лежащей рядом на тумбочке моей сигаретной пачке. Между прочим, она не курит.

– Оставь, – говорю я.

Не слушая меня, она берет сигарету, неумело мнет ее пальцами и долго глядит на кончики своих тапочек.

– Самой большой загадкой для меня был ее провал. Я даже не прислушивалась к разговорам за столиками. Все думала: кто? Кто предал? Ведь она была связана только с Седым, информацию передавала, как говорится, из рук в руки. А провалилась явка не Седого, а дяди Васи.

Я смотрю в зеркало на Галку. Смешинки в глазах ее погасли, да и сами глаза как будто ввалились. Или мне это показалось в тусклом зеркальном стекле?

– А помнишь клятву, с которой мы начали тогда после первомайской сводки по радио? – вдруг спрашивает она.

Не напрягая памяти, я отчеканиваю слово за словом:

– Не щадя крови и жизни своей, за пытки, за издевательства и насилия над людьми клянусь мстить врагу жестоко, беспощадно и неустанно. Кровь за кровь! Смерть за смерть!

– Да... все так...

– А ты говоришь – паломничество, – возвращаю я Галку в семидесятые годы.

Она не слышит.

Она все еще там, в глубине времени, вскрытой световой скоростью мысли.

– Наивные мы были. О чем думали? – медленно, без интонации говорит она, и слова ее оттого звучат, может быть, чуть книжно, но я знаю – они от сердца. – О романтике подвига, а не о его стратегии. О празднике подвига, а не о его буднях. Застрелить гитлеровца на улице или повесить предателя, взорвать вагон с боеприпасами или поджечь цистерну с нефтью, прижав к зажигалке бикфордов шнур. А вот о том, сколько мужества и терпения, сколько мучительных часов ожидания потребует эта вспышка зажигалки, не думали. Мы еще долго учились терпеть и ждать...

Она права: долго. Почти год. Гога чистил запыленные солдатские сапоги, подслушивал разговоры их обладателей – солдат и ефрейторов, пригнанных в Одессу. Галка запоминала болтовню пьяных гестаповцев и психующих фронтовиков за ресторанными столиками. Дядя Вася, штуковавший и гладивший офицерские бриджи на портняжном катке, терпеливо допытывался у денщиков обо всем, что требовалось Седому. Володька Свентицкий сыпал песок в боксы товарных вагонов, я урывками по ночам откладывал из наборных касс шрифт в кулечки, которые под утро незаметно выносила

из типографии уборщица тетя Франя. Добыча переправлялась портному в подвал, где при свете коптилки мы и набирали оперативные сводки Москвы, подслушанные по радио, и оттискивали их на обрывках типографской бумаги украденным в той же типографии валиком. Их наклеивали на заборы и стены, подбрасывали на рынке или вкладывали между листами липкой бумаги от мух, пачки которой продавали девчонки-школьницы Леся и Муля. «А вот цепкая, липкая бумага! Смерть мухам единым духом!» – выкрикивали они в рыночной толчее. И ни один, купивший листы с начинкой, не выдал девочек, а ведь только за одну-единственную обнаруженную в пачке листовку их могли бы пристрелить тут же, на рынке. Одного застреленного мальчонку я сам видел на Привозе, не доходя до вокзала; возле него стоял, равнодушно попыхивая скрученной из газеты сигаркой, небритый немецкий солдат. Прохожие шли мимо и крестились, не обращившись: «Страшны дела Твои, Господи...» Улица Адольфа Гитлера. Улица Антонеску. Король Михай. Сигуранца. Гестапо.

Наша пятерка уже входила в это время в довольно большую группу, подчинявшуюся одному из подпольных райкомов Одессы. Руководил нами Седой, старый подпольщик, умело распределявший звенья, задания и роли. Работал он приемщиком в прачечной, в штате той же гостиницы, что и Вера. И связь поддерживал с ней и дядей Васей, у которого и была главная наша явка. Типографшики, правда, общались

через меня или уборщицу тетю Франю, а мы, «изначальники», впятером иногда собирались у Галки за чаем-малинкой и лепешками из вареной моркови. «Пир во время чумы. Званный вечер в Транснистрии», – острили мы.

Я не замечаю, как произношу это вслух. Галка смеется.

– Почему не сказать – в Заднестровье?

– Потому что королю Михаю больше нравилась Транснистрия.

– И король Михай уже забыт. Стоит ли вспоминать?

– Иногда стоит.

Порыв ветра распахивает балконную дверь. Звон стекла возвращает меня в наши дни. Я выхожу на балкон и вижу зеленый откос берега, черные холмы угольной гавани и стрелы порталных кранов, похожих на марсианские боевые машины с рисунков Робида к уэллсовской «Борьбе миров».

– Иногда стоит, – повторяю я и выхожу на улицу.

Паломничество

Галка не ошиблась. Впечатления детства исказились и поблекли. Я не узнал ни двора, ни дома на бывшей Канатной. Все сплющилось до игрушечной уменьшенности. Даже хлам на дворе был не тот, не той давности. А на чердак, где мы давали партизанскую клятву, я не полез. Может быть, там сейчас, как и прежде, развешивают белье, – еще за вора примут.

Я прохожу по улице Бебеля до пересечения ее с улицей

Ленина и сворачиваю вниз, к Оперному театру. Маршрут мой тот же, что и в сентябре сорок третьего года. Память, как кинооператор, творит чудо. Одессу моего детства наплывом сменяет Одесса времен короля Михая, тускло просвечивающая сквозь нынешний, неузнаваемо помолодевший город. Он приобрел как бы прозрачность, возможную только в кино. Из-за ярко-зеленой ленточки аккуратно подстриженного газона память высвечивает выщербленный асфальт, разбитый подковами немецких солдатских сапог. Узорчатую игру шелка в витрине магазина тканей призрачно заслоняют пивные бочки румынской «бодеги». Веселые окна булочной вдруг закрываются грязным ковром универсальной комиссии. Хороших ковров тогда в магазинах не было – их отобрали и вывезли специальные команды для переброски всего ценного в королевскую Румынию и германский рейх. Нам в это время уже было поручено всячески препятствовать вывозу художественных ценностей из Одессы, и партию ковров, в частности, удалось спасти: их перегрузила в другой вагон бригада Свентицкого, а железнодорожники укрыли его в одном из тупичков Одессы-Товарной.

На углу улицы Ленина я уже не вижу нынешнего нарядного города – обратный ход времени безотказно сработал, воскресив в памяти и пустынную тогдашнюю Ришельевской, и притаившуюся за окнами непокоренную тишину. Она вдруг раскололась где-то впереди грохотом взрыва, взвизгнула короткой очередью автоматов. Но я даже не вслушивался: кто

обращал внимание на уличную музыку того времени? К тому же я спешил, не задумываясь над тем, что навстречу мне так же торопились редкие прохожие с серыми от испуга лицами: мало ли чего пугались тогда в Одессе. А у меня было неотложное дело: всего полквартила впереди за углом меня ждал серый обшарпанный домик, на двери которого была прибита фанерная доска-вывеска. Хозяин, обмакнув палец в чернила, витиевато вывел на ней: «Чоловичий кравец» и ниже по-русски: «Пошив, лицовка, штукровка, глажка». На крайнем правом окне первого этажа, куда легко заглянуть с улицы, должен был стоять фикус, что означало: входи смело, коли нет «хвоста». А если фикуса не было – проходи мимо, не задерживаясь и не озираясь.

Метрах в пятидесяти от памятного мне домика я останавливаюсь, как и тогда. Ведь наверняка знаю, что и дом не тот, и фикуса нет, и все же замираю на месте. Повторяю: как и тогда. Но в тот день меня остановила Галка, выскочившая из соседних ворот, простоволосая, без косынки, которую судорожно комкала в руках.

– Повернись сейчас же и ступай не спеша, – скомандовала она свистящим шепотом. – Ничего не спрашивай. Как будто что-то забыл.

Я повиновался, не глядя на Галку, хотя и видел краем глаза, как она идет рядом.

– В чем дело? – спросил я сквозь зубы, когда дошли до угла.

– Явка провалена. За дверью охранники с автоматами.

– А фикус?

– Какой еще фикус! Там весь угол разворочен гранатой.

Я должен был встретиться с Галкой у дяди Васи, но опаздывал, что меня и спасло. А Галка?

– Не дошла. Как увидела взрыв – весь угол разнесло, – хлопок на землю тут же, в воротах, и затаилась... А полицаи с улицы полоснули по окнам из автоматов – и за дверь! До сих пор не выходят. Ждут.

– Кто же выдал?

– Спроси что-нибудь полегче.

Каждый из нас задавал себе этот вопрос. Провал явки и смерть дяди Васи потрясли всех. Впоследствии мы узнали, что он бросил гранату не в охранников сигуранцы, ворвавшихся в мастерскую, а в угол окна, где стоял фикус. Он не успевал снять его и тем самым предупредить товарищей о провале.

И граната уничтожила фикус, часть стены и его самого, что было, пожалуй, лучшим для него выходом: в сигуранце бы его замучили.

Меня же случившееся совсем подкосило. В мастерской дяди Васи я не только набирал и печатал листовки, но и ночевал, потому что другого местожительства у меня не было. Тетка, заменившая мне мать, умерла в первые же дни оккупации, а комната наша приглянулась какому-то гауптману. Снять жилье где-нибудь не рекомендовалось законами кон-

спирации: появление нового человека всегда вызывало подозрение у опекавших дом полицаев. Седой возражал даже против ночевки у дяди Васи, рекомендуя вместо этого фиктивный брак с Верой или Галкой. Но даже для фиктивного брака с Верой я был слишком уж молод, а вариант с Галкой решительно отверг сам. Хотя она, всегда готовая к жертвам, и согласилась немедленно, но я, впервые взглянув на нее глазами пусть фиктивного, но все-таки мужа, сразу понял, что подобное псевдосупружество оказалось бы для меня слишком мучительным: Галка была чертовски хороша в свои двенадцать лет.

Так мы и шли тогда бок о бок, растерянные, как дети, заблудившиеся в лесу, не знали, что сказать друг другу, о чем спросить, на что решиться.

– Куда же ты пойдешь теперь? – вырвалось наконец у Галки.

– Не знаю.

– К Седому?

– К Седому нельзя.

– Может, к Володьке Свентицкому?

– Мы даже здороваться на улице не должны.

– Тогда ко мне. Повесим простыню между койками – и ночуй. А брак оформим в управе.

– Я не хочу фикции, Галка.

Черные глаза ее бесстрашно встретили мой взгляд.

– Сейчас не время для любви, Саша.

– Так не будем подменять ее суррогатом.

Молча дошли до Преображенской. Осмотрелись: спокойно, «хвостов» нет.

– Как же связаться с Седым?

– Попробую через Веру. В конце концов мы работаем в одной богадельне.

Но мы еще не знали, что Веры в гостинице нет. Ее взяли одновременно с налетом на нашу явку. Это удивляло и настораживало: Вера редко общалась с людьми из нашей группы. И обязанностью ее были агентурные сведения, а не распространение листовок. Только один раз она встретилась со мной у дяди Васи, да и то в виде исключения, когда Седого внезапно вызвали на разговор с подпольным райкомом. Сигуранца подбиралась к Седому, потому что сразу взяли обоих его связных. Но если дядю Васю мог предать любой из нашей группы, то Веру, кроме меня, никто. В конце концов я все-таки нашел предателя, но это случилось много дней спустя, когда я заменил дядю Васю на связи с Седым.

В тот день я шел как с мутной пеленой на глазах, не зная куда и зачем. Свернул на Дерибасовскую, выпил кружку пива у Думитрака, постоял у захламленной витрины комиссии, и вдруг чья-то рука легла мне на плечо и я услышал знакомый интеллигентный, негромкий голос:

– Что вы здесь делаете, Саша?

Я сразу узнал Марию Сергеевну Волошину, мать моего одноклассника Павлика. Я дружил с ним, бывал у них дома,

хотя и несколько стеснялся церемонной строгости их европеизированного домашнего быта. Что-то мне не нравилось и в Павлике, хотя по мальчишеской своей неопытности я не мог в точности определить что, но в общем-то и не слишком огорчился, когда он, не кончив школы, уехал в Берлин к отцу, работнику советского торгпредства в Германии. С тех пор о Павлике мы и не слышали. Говорили, что отец его бросил мать, женился на немке и уже не вернулся на Родину. Так Павлик и семья его выпали из круга моего детства.

Мария Сергеевна почти не изменилась, хотя с тех пор прошло не менее семи лет. Ей было, наверное, уже за сорок, но выглядела она по-прежнему подтянутой, моложавой, ухоженной и нарядной.

– Как вы возмужали, Саша! Совсем взрослый. Только в лице еще что-то прежнее. И чубчик. Потому и узнала.

Я галантно поцеловал её руку.

– Почему не заходите? Я там же, на Энгельса. Простите, на Маразлиевской... А что вы ищете здесь?

– Комнату ищу, Мария Сергеевна.

– Какие же комнаты на Дерибасовской? А ваша собственная?

– Увы, в ней разместился немецкий гость.

Она поняла.

– Да-да, все это очень грустно. Много грустно, Саша. Безумная идея вдруг пришла мне в голову.

– Может быть, у вас есть свободная комната? Вы меня бы

выручили. Я ведь жилец аккуратный и тихий.

Мне показалось, что она смутилась. Потом задумалась. Потом вдруг улыбнулась одним уголком губ.

– Пожалуй, я могла бы помочь. Есть комната. Бывшая комната Павлика. Ее не тронули – очень мала.

Я внутренне возликовал, вспомнив светелку Павлика.

– Можно, я сейчас же и перееду, Мария Сергеевна?

Она опять задумалась, мельком оглядела меня, оценив что-то по-своему, и добавила вежливо, но строго:

– Только одно условие, Саша. Чтоб ничего такого... Вре-
мя, сами понимаете. Не подведите.

Так я и переехал в дом, едва не ставший моей могилой...

Сейчас, спустя тридцать лет, я снова прошел по улице Энгельса. Дом не очень изменился, лишь чуть-чуть постарел. Тот же серый, под гранит фасад, уставившийся на парк имени Шевченко, тот же набор готических окон на втором этаже, те же резные филенки подъезда.

Но в дом я не вошел.

Я и Тимчук

От паломничества моего я уже еле волочу ноги, а до обеда в гостинице, когда обещал Галке вернуться, остается еще час с лишним. Надо его убить.

Захожу в пивной бар в переулочке на Дерibasовской, который одесситы зовут «Гамбринус», должно быть, в память

воспетого Куприным тезки. После белой от солнца улицы в подвальчике полутьма, длинные столы, за которыми впри-тык жмутся любители бочкового «Жигулевского», огромные пивные бочки, обращенные в столики, снующие мимо них официантки с подносами, умещающими добрый десяток кружек, несчастливцы, которым так и не удается найти свободного места. Жарко. Влажная духота, как в батумском приморском парке. Только пахнет не магнолией, а пивом, потом и соленой рыбой.

Мне везет. Освобождается место возле бочки, где уже восседает седоватый толстяк с пышными запорожскими усами. Он пристально вглядывается в меня, щурится, даже приподымается, чтоб лучше рассмотреть, и робко спрашивает:

– Олесь?

Так меня называл тридцать лет назад единственный в Одессе человек – Тимчук. Звали мы его не по имени, которое, кстати говоря, я и не помню, а просто Тимчук, Тим, Тимка. Наши квартиры были рядом, да и учились мы в одном классе, только Тим ушел из школы после седьмого класса к отцу, не то метрдотелю, не то шеф-повару в бывшем «Бристоле», учиться «на официанта» или «на кельнера», как тогда говорили. Мы просто жили рядом; не дружили и не враждовали, а драться с ним было опасно: он еще мальчишкой играл пудовой гирей и быстро вырастал из рубашек, лопавшихся у него на бицепсах.

Сейчас он сияет: тридцать лет не виделись!

– А тоби и не узнаешь. Який фронт!

– А тебя? Усы как у Пилсудского.

– Ни. Як у Бульбы.

Он говорит, как и раньше, мешая русские слова с украинскими.

– Ждали – не гадали, а побачились. Давно тут?

– Утром прилетел. А вечером отплываю на «Котляревском».

– Ну а в обед ко мне на вареники. Есть и домашняя горилка з перцим. Погрустим за Одессу-маму.

– Я с Галкой приехал, Тим.

Жар в глазах Тимчука остывает.

– С Галиной Юрьевной? Так. Привет передай ей, наикрашайщей, хоть и не жаловала меня. Строгая дивчина была, недоверчивая.

– Все забылось, Тим. Просто время у нас ограничено.

– Ни. – Он сжимает толстые пальцы в пудовый кулак и легонько ударяет им по залитой пивом бочке. Бочка глухо гудит. – Ничего не забыто, Олесь.

Он прав, конечно. Ничего не забыто. И Галка действительно его недолюбливала. А в сорок первом мы все даже возненавидели его, когда он пришел из городской управы с повязкой полиция и автоматом через плечо. «Меня из ресторана силком взяли, как отец ни просил, – оправдывался он, – только я своих трогать не буду». Но мы были неумолимы. «Свои у вас в сигуранце, домнуле жандарм, а здесь, изви-

ните, своих у вас нету». Надо честно сказать, никого из нас Тимчук не выдал, а впоследствии и работу свою в полиции подчинил задачам нашей подпольной группы, и даже мне с Галкой жизнь спас, все же его добровольное «полицайство» в сорок первом году Галка ему долго не прощала. И Тимчук это знал.

Сейчас он гладит пышные свои усы – кончики намокли в добром одесском пиве – и, подмигнув, предлагает:

– Повторим?

– Повторим.

– А помнишь, как ты мене завербовав?

– Еще бы. На углу Новорыбной?

– Ни. За мостом, где трамвайные рельсы из мостовой выковыривали...

Мы действительно столкнулись тогда с Тимчуком. Я хотел было мимо пройти, да что-то в лице его поразило меня – глухая, невысказанная, подспудная ярость. Он не видел меня, смотрел сквозь меня, как грузили вырванные из гнезд рельсы на желто-зеленый немецкий грузовик.

– Интересуешься, как дружки твои хозяйствуют? – спросил я. – Стараются во славу родной Транснистрии.

– Бачу, – сказал он. – Грабят як бандюги.

– Так они и есть бандюги. Не знал разве?

– Узнал.

Я тут же подумал, что полицай с таким настроением мог быть полезен подпольщикам.

– Так хоть ты по крайней мере не имеешь отношения к этому грабежу, – начал я осторожно.

– Имею, – вздохнул он. – Получен приказ самого одесского головы Пынти. Все, что есть ценного в комиссионках, тут же забирать – и на склад городской управы. Картинки, подсвечники, лампы настольные либо из бронзы, либо из серебра, мебелишку какую-нибудь редкую. Есть еще что-то в городе, что бандитам пока не досталось. – От волнения он говорил по-русски чисто, не переходя на украинский.

– А хочешь помочь, чтоб не досталось?

– Как?

– Надо узнать номера грузовых отправок, место назначения и вид отправки: багажом или почтой. Сможешь?

– Смогу.

– Заметано. Ты когда днем свободен?

– Лучше к часу. У нас съеста, как говорит домнудле голова.

– Встретимся на кладбище. Третий проход слева. У памятника купеческой вдове Охрименко. Во вторник. Не опоздай – ждать не буду. А выдашь – тебе же хуже. Поедешь напрямиком не в рейх, а в рай.

– Спасибо за веру, Олесь. Не обману.

Седой не одобрил моей инициативы. Добровольно пошедший в полицаи не заслуживает доверия. Но что сделано, то сделано. Встречу мне разрешили при условии, что контролировать ее будут трое подпольщиков. При малейшей опасности мне дадут возможность уйти.

Но опасности не было. Тимчук точно выполнил задание и столь же точно выполнял другие. Сведения, добываемые им, были верны и своевременны, а его связи с сигуранцей и гестапо позволили спасти не одного человека, которому угрожал арест или отправка на принудительные работы в Германию. Седой все еще осторожничал и не расширял его связи с подпольем. Но кое с кем он его все-таки связал. С Гогой Свентицким, например. С дядей Васей. С Галкой, наконец, которой труднее всего было отлучаться из ресторана, а с Тимчуком она всегда могла перемолвиться у себя на дворе или в подъезде, хотя Галка была единственной из нас, которая ему все-таки до конца не доверяла.

– Порядочный человек никогда бы не стал полицаем.

– Он давно раскаялся, Галка.

– Такие не раскаиваются. Такие мухлюют. Почуял, что крысы с тонущего корабля побежали...

Гибель дяди Васи и Веры (во внутренней тюрьме гестапо от нее не добились никаких показаний) не привела к провалу нашей организации. Вынужденная пауза не обнаружила ни слезки, ни провокаций. Но провокатор все-таки был. Тот, кто знал связных и явку, знал и затаился. Почему? Знал мало, хотел знать больше? Охотился за Седым, оставляя нас на закуску? Забравшись на чердак, мы с Галкой часами перебирали всю нашу группу, пробуя втиснуть каждого в незаполненную строчку кроссворда. Только я и Галка знали обоих помощников Седого, но никто из нашей группы не имел

связи с Верой, а связанные с нею не знали нас. Арест Веры еще мог быть случайным – какая-нибудь неосторожность, обмолвка, оброненная записка, – но одновременный провал обоих был явно обдуманым тактическим ходом врага. Кто же сделал этот ход? Мысли путались, кроссворд не решался.

– Так можно всех подозревать, даже Седого, – злился я.

– А Тимчук? – спрашивала Галка.

– Тимчук не знал Веры.

– Мог узнать.

– Каким образом?

– Кто-нибудь проболтался.

– Кто? Вера была табу для всех.

– Для нас. А ты знал связи Веры? Нет. А связи Тимчука?

Тоже нет.

Именно это упоминание о связях Тимчука и вывело меня на след предателя. Тимчук давно уже предлагал мне привлечь к работе одного «подходящего парня», который, мол, и в полицаи не поше, и на немцев не работает. Речь шла о Федьке-лимоннике, торговавшем с лотка мелкими грушами-лимонками, леденцами, похожими на подслащенное сахарином стекло, и папиросной бумагой, которую он вырывал из альбомных изданий Брокгауза и Ефрона, где листы ее клеивались прокладкой между гравюрами. Книгами тогда в Одессе топили печки-«буржуйки», и добыча доставалась Федьке легко, обеспечивая заработок и приятельские связи с шатавшейся по рынкам румынской и немецкой солдатней.

Он мог быть кое в чем полезен для нас, но мог стать и опасным, потому что разгадал истинное лицо Тимчука. Тот как-то проговорился о листовках, а Федька загорелся, попросил привлечь к этой работе: «Листовку со слезами целовал». Седой, которого я поставил в известность об этом, допускал возможность провокации и предложил проверить Федьку, ограничив его деятельность распространением листовок, а его связи с подпольем – взаимоотношениями с Тимчуком. Где и кем печатались листовки и как они попадали к Тимчуку, Федор не знал и не интересовался, выполняя задания, как солдат приказы непосредственного начальника.

Именно это нас и успокоило, хотя должно было насторожить: молодой честный парень, допущенный к делам, требующим отваги и мужества, естественно, претендовал бы и на больший риск, и на большее к нему доверие. Но у Федьки была другая цель. Он решил на свой риск и страх проследить связи Тимчука с одесским подпольем и найти головы покрупнее и подороже тимчуковской. Запыленный, серый и юркий, в собственноручно сшитых тапочках из сыромятной кожи, он неслышно и незаметно день за днем терпеливо выслеживал Тимчука, пока не засек его встречу со мной.

Теперь «охотник» пошел по другому следу и легко обнаружил мою квартиру: я в те дни болел и выходил только на встречу с Тимчуком да проводить в первый и единственный раз посетившую нас Веру. И надо же было так случиться, что именно в эти минуты и углядел нас Федька-лимонник. Я да-

же заметил его на улице, только не придал значения: Федьку можно было встретить в любом конце города. Но часа своего он дождался и выследил Веру вплоть до гостиницы, а узнать, кем она там работает, было для него сущим пустяком. Две головы он продал.

Но почему он не продал третью голову – Тимчука? Да просто потому, что тот мог утопить его на допросах, а сам по себе, как раскрытый подпольем предатель, он был не нужен гестапо. Пешка, фоска, битая карта в игре. И, понимая это, Федька берег Тимчука как кончик ниточки, связывающей его с непокоренным городом. Но теперь уже Тимчук следил за ним и в конце концов поймал его в часовой мастерской, под прикрытием которой орудовала резидентура гестапо. Мы все сопоставили, все взвесили, прежде чем принять решение.

– Еще по одной, – предлагает Тимчук, стуча кружкой.

Он долго молчит, разглядывая свою поросшую рыжим волосом руку, сжимая и разжимая пальцы.

– Ты где работаешь? – спрашиваю я, пытаюсь отвлечься от воспоминаний.

– Работаю? – удивляется он вопросу. – Портальный кран бачил? На пирсе. Крановщиком.

– Ну там твоя силушка не нужна.

– Так ч ж не о том. Вспомнилось. На кладбище буд?

– Зачем? Я и так все помню.

– Ты же рядом стоял. Другие отвернулись, а ты бачив.

Я действительно стоял рядом и не отвернулся. Нас было пятеро тогда на кладбище у памятника одесской купчихе: Тимчук, я, Галка, Володя Свентицкий и Леся, заменившая Веру. Именно нам и поручил Седой привести приговор в исполнение. Фанерная дощечка с надписью «Провокатор гестапо. Казнен по приговору народных мстителей» была уже заготовлена, веревка тоже. Мы только забыли о табурете или ящике, который следовало выбить из-под ног повешенного. Федор стоял на коленях с кляпом во рту под узловатым Отростком клена. По-моему, он уже умер заживо.

Володька взял веревку и глядел на дерево, не зная, что делать. Галка стояла позеленевшая, как от морской качки. Не двигались и мы с Лесей. Тогда Тимчук сказал: «А ну-ка отвернитесь, хлопчики. Негоже дерево трупом поганить. Я его породил, я же его и кончу...»

Вот тогда я и запомнил эти поросшие рыжим волосом могучие руки.

– Пора, Тим, – говорю я, вставая из-за бочки. – Пошли. Отплытие в шесть. Приходи к причалу.

– Приду. Не сердчай, что вспомнилось. Темное тоже не забывается.

– Темное ушло, Тим. Светлое осталось.

Мы поднимаемся из подвальчика на залитую солнцем улицу, а в ушах звенят серебряные трубы Довженко:

«Приготовьте самые чистые краски, художники. Мы будем писать отшумевшую юность свою».

Отплытие

Черно-белый красавец «Иван Котляревский» стоит у причала морского вокзала.

Длинные руки лебедек играючи перебрасывают грузы в разверстые пасти трюма. Многоэтажный дворец над ним пока еще пуст – театральный зал перед премьерой, причем иллюзию дополняют контролеры у трапа в белоснежных куртках и фуражках с золотыми «крабами».

Где-то наверху, на пятом или шестом этаже, и наша каюта на открытой палубе, над которой вытянулись одна за другой серыми дельфиньими тушами шлюпки, покрытые натянутым брезентом. Теплоход был копией «Александра Пушкина», на котором я ходил в круиз из Ленинграда в Гавр прошлой осенью, тот же черный остов и белые палубные надстройки, та же радиомачта и косо срезанный конус трубы с полоской сверху – таким алым галстуком на белом моряцком мундире.

Мы только что отобедали в ресторане на вокзальной веранде и сидим у чемоданов на причале на приятном морском сквознячке. До отплытия еще больше часа. Я молчу.

– Ты что раскис? – спрашивает Галка.

– Жарко. – Мне не хочется объяснять.

– Здесь совсем не жарко. Грустно, что уезжаем, да?

– Грустно, конечно.

– Встречи с прошлым не всегда радуют.

– Галя! – зовет кто-то рядом.

Я оборачиваюсь и вижу, как немолодая, хорошо скроенная блондинка в небесно-голубых брюках и желтой кофточке бросается к Галке.

– Ты провожаешь или едешь?

– Еду, конечно.

– Мы тоже. Шлюпочная палуба. Полулюкс. Сто двадцать четвертая.

У нас тоже шлюпочная палуба и такая же каюта-полулюкс. Но Галка не хвалится.

– Ты с кем? – не унимается блондинка.

– С мужем. Знакомься.

Я встаю.

– Гриднев, – говорю как можно суше: блондинка мне не нравится.

– Сахарова Тамара, – отвечает она и, подумав, добавляет: – Георгиевна... А у тебя интересный муж, Галина, – она оглядывает меня с головы до ног, – и одет...

– Старый пижон, – смеется Галка.

– Из какой сферы? Наука, искусство, спорт, торговля?

– Пожалуй, наука, – говорю я неохотно.

– Доктор или кандидат?

Кто-то спасает меня от допроса. С криком «Миша!» блондинка ныряет в сутолоку у трапа.

– Что это за фея?

– Моя косметичка.

– Зачем тебе косметичка?

– Работа в институте судебных экспертиз еще не избавляет меня от необходимости следить за своей внешностью.

– А это ее муж, наверно?

– Вероятно. Я с ним незнакома.

Мужчина с иссиня-черной бородой с проседью, примерно моего роста и моего возраста, даже не посмотрел в мою сторону.

– Чем он занимается?

– Оценщик в комиссионном магазине на Арбате.

– Интеллектуальная профессия.

– Зато выгодная. Может поставить твой пиджак за полсотни, положить под прилавок и позвонить своему знакомому, падкому на импортные шмотки. А тот еще подкинет ему четвертной.

– В криминалистике это имеет определенное название.

– Имеет.

– Что-то меня не тянет к такому знакомству.

– Для твоей профессии полезны любые знакомства.

Я ставлю чемоданы на освободившуюся скамейку и не собираюсь вставать.

– Пусть все пройдут. Да и Тимчука пока нет.

– А я тут, – возвещает обладатель запорожских усов в украинской расшитой рубашке. В руках у него бутылка пива и два бумажных стаканчика. Третий с мороженым.

– Этот, должно быть, для меня, – смеется Галка и целует Тима в его пушистые усы. – Какой богатырь! Прямо из Гоголя. Был Остап, стал Тарас. Ты что вчера про меня Сашке наговорил?

Я объясняю:

– Это она о нашей прогулке в прошлое. О пиршестве воспоминаний.

– Пиршество воспоминаний, – назидательно говорит Галка, – хорошо в трех случаях: для мемуариста, для юбиляра и в праздник, когда встречаются ветераны войны.

– Для меня вчера и був праздник, – подтверждает Тимчук.

– А для меня праздник сейчас – это отдых, Тим. От московской сутолоки, от воспоминаний и телевизора.

Несколько минут мы оживленно болтаем. О том, о сем – ни о чем. Галка вдруг смотрит на часы и перебивает:

– У нас еще сорок минут. Успею послать телеграмму маме. Пусть не тревожится.

– С теплохода пошлешь.

– Не знаю. Там все по часам расписано. А здесь ходу всего четыре минуты.

Она убегает, оставляя нас одних, и мы вдруг убеждаемся, что говорить больше не о чем. Все переговорено. Но и в молчании обоим тепло и радостно.

Мимо нас к табачному киоску торопливо проходит человек с иссиня-черной бородой и военной выправкой. Что-то неуловимо знакомое вдруг настораживает меня в этом обли-

ке.

– На бороду дивишься? – спрашивает Тим.

– Дело не в бороде.

– А кто это?

– Муж одной Галкиной знакомой. Некто Сахаров. А может, и не Сахаров, это она, Сахарова. Что-то цепляет глаз в нем, а что – не знаю.

Мы смотрим ему вслед. Он покупает пачку сигарет, возвращается и, не обращая на нас никакого внимания, закуривает в двух шагах от нашей скамейки. Теперь он отчетливо виден – так сказать, крупным планом.

– Узнал? – спрашивает Тимчук. Когда он встревожен, то говорит, не балуясь украинизмами.

– Боюсь утверждать.

– А я узнал.

– Сходство часто обманывает. Слишком уж давно это было.

– Тогда я разговаривал с ним, как с тобой, – лицом к лицу.

– А шрам на подбородке? Его даже борода не скрывает.

– Шрама не было. Может, потом?

– Когда потом? Забыл?

Тимчук молчит, потом произносит с твердой уверенностью:

– Он.

Я уже ни в чем не уверен. Мало ли какие бывают совпадения.

– Глупости, Тим. Показалось.

– У меня глаз крановщика. Наметанный. Не придется тебе отдыхать, полковник.

– Чудишь. Такие вещи проверять да проверять.

– Вот и проверишь. Кончился твой отпуск, друже полковник.

Я смотрю вслед уже шагающему по трапу бородачу. В чем сходство? Не знаю. Но оно есть. Не подслушал же мои мысли Тимчук – узнал.

– Если понадобится – телеграфь. Прилечу для опознания, – говорит он.

– О чем вы? – подбегает Галка.

– Да ни о чем. Чудит Тимчук.

Мы обнимаемся на прощание. Он настороженно, даже встревоженно серьезен.

– Так если что, телеграфируй. А может, и до Одессы доедешь.

– О чем он? – повторяет Галка.

– Чушь зеленая, – говорю я и, подхватив чемоданы, иду к трапу.

Ялта

Знакомство

Мы с Галкой наплавались в бассейне и теперь сидим в шезлонгах на открытой солнцу кормовой палубе – я под тен-том, Галка на солнцепеке; вероятно, рассчитывает вернуться из рейса мулаткой.

Рядом с ней на туристском надувном матрасе Тамара лениво ведет свой женский загадочный разговор. Именно загадочный: мужчинам не дано понимать женщин. Бородатый муж Тамары играет тут же у натянутой на палубе сетки в волейбол не то со студентами, не то с молодыми кандидатами наук. Играет отлично, почти профессионально, вызывая завистливые реплики зрителей: «Посмотри на “бороду”. А подачка? Во дает!» Он подвижен, ловок и вынослив, как тот старый конь, который, как известно, борозды не испортит. Впрочем, слово «старый» к нему не приклеишь, даже «пожилой» не подходит. Куда мне...

Я искоса внимательно наблюдаю за ним, силясь уловить что-то знакомое. Иногда улавливаю, чаще нет. Возникает нечто мучительно-памятное и сразу же исчезает. А он даже не смотрит на меня, не видит и не интересуется – играет беззаботно и с удовольствием. Нет, мы с Тимчуком определен-

но ошиблись. Тут даже не сходство, а так, что-то вроде как на дрянных фотокарточках, какие наклеивают на сезонные пригородные билеты в железнодорожных кассах.

Воспользовавшись тем, что Тамара снова отправилась в бассейн, я подвигаюсь к Галке.

– У нас два свободных места за столиком в ресторане, – говорю я с наигранным равнодушием. – Пригласи своих знакомых. Пусть пересядут.

– Тебе же не понравилась эта пара.

– Все лучше, чем одним сидеть. Новые люди. Да и веселее.

– Тебя Тамара заинтересовала?

– Скорее ее муж.

У Галки хитро прищурены глаза.

– Любопытно, почему?

– Красивый мужчина.

– Так это я должна интересоваться, а не ты.

– Вот ты и заинтересуйся.

– Зачем?

– Хорошо в волейбол играет.

– Тут что-то не то.

– Может быть. А ты все-таки их пригласи.

Тамара возвращается из бассейна, и Галка, лукаво взглянув на меня, берет, что называется, быка за рога.

– Тамара, у вас интересные соседи за столиком?

Тамара морщится:

– Два желторотых юнца. Вон они играют в волейбол с Ми-

шей.

– Пересаживайтесь к нам. У нас как раз два свободных стула и столик не у прохода.

– Если ваш муж, конечно, не возражает, – вставляю я.

– Муж мне никогда не возражает, а потом с вами же интереснее.

Посмотрим. Первый крючок я забросил.

– Кстати, обед сегодня на час раньше. На подходе к Ялте, – добавляет Тамара. – Уже одеваться пора. А потом на экскурсию в Алупку. Идет?

– Я поеду, – говорит Галка.

Я молчу. Поедет ли он?

К обеду являемся в полном параде. Женщины раскручивают разговор сразу, как магнитофонную ленту. Мужчины сдержанны и церемонны.

– По сто для аппетита перед обедом? – предлагаю я.

– Давайте.

– У вас «Столичные»?

– Нет, «Филипп Моррис».

Закуриваем.

– Оригинальная специальность у вашей жены. Эксперт-криминалист.

– О криминалистике я уже забыла, – роняет Галка: по-видимому, ей не хочется раскрывать перед посторонними секреты профессии. – Сiju на экспертизе старых документов. Недавно определяла подлинность пометок Чайковского на

где-то найденных нотах.

Галка невольно подыгрывает мне. Не нужно, чтобы он знал или догадывался о моей работе.

– А вы? – тут уже спрашивает он.

Галкина рука лежит на столе. Я многозначительно сжимаю ей пальцы.

– Я юрист, – говорю. – К сожалению, не Кони и не Плевако. Рядовой член коллегии защитников.

– Уголовный кодекс?

– Нет. Разводы, наследства, дележ имущества.

Галка не проявляет ни малейшего удивления: поняла, что я начал пока еще неизвестную ей игру.

– Ну да, – лениво бросает он. – Невесело у вас получается.

– У вас веселее?

– Пожалуй, нет. Я уже после войны Плехановский кончил. Директора универмага из меня не вышло. Главбуха тоже. Верчусь мало-помалу в комиссионке.

– Золотое дело эта комиссионка, – хвастливо провозглашает Тамара.

– Не преувеличивай, – кривится он. – Работа как работа. Не лучше твоей.

Что-то в его интонации тотчас же останавливает его рубенсовскую красавицу. Теперь она занята только ножом и вилкой. А он? Неудачник или играет в неудачника? Но ведь эти игры – дешевка. При его спортивной ухоженной внешности и умных, очень умных глазах. Я внимательно ищу в

них давно знакомое. И нахожу. Неужели мы с Тимчуком не ошиблись?

А он только вежливо слушает или спрашивает, глядит на меня как на чистый лист бумаги, на котором сам же напишет: «Сосед по столику, спутник по рейсу. Не очень интересен. Общих тем нет. Скучно». Это если мы с Тимчуком ошиблись. А если нет? Я изменился, конечно, за тридцать лет. Галка тоже, но узнать нас можно. Особенно ему, если это он. Тогда где же встревоженные искорки в глазах, растерянный жест, невольно сжатые губы, дрогнувшие пальцы, пусть чуть дрогнувшие, но я бы заметил. Глаз наметанный – профессия. А тут – ничего. Съел суп, оставил макароны – не любит. Пьет фруктовый компот. И слова бросает равнодушно.

Разговор поддерживает главным образом Галка:

– Вы почти профессионально играете в волейбол. Любите спорт?

– Больше по телевизору.

– Бросьте. Сразу виден тренинг.

– У нас дома и боксерские перчатки, и груша, – опять-таки не без хвастовства вставляет Тамара.

И опять он кривится. Откровенность жены ему явно не нравится.

– И стреляю неплохо, – цедит он. – В роте был снайпером.

Мне хочется спросить, где он воевал, но понимаю, что он назовет именно те места, где воевал Сахаров. А потом это

можно сделать и позже.

Разговор о военном времени не должен быть преднамеренным.

И тут я опять настораживаюсь, видя, как он закуривает. Берет сигарету двумя пальцами, отставив мизинец, чиркает зажигалкой, затягивается и тут же, вынув сигарету изо рта, глядит на тлеющий ее огонек. Тот самый жест, который и насторожил нас с Тимчуком на причале. Жест, который я помню все тридцать лет как неотплаченную пощечину.

Теплоход гудит, подъезжая к ялтинскому причалу. Официантки разносят билеты на экскурсию в Воронцовский дворец в Алупке. Там жил Черчилль в дни Ялтинской конференции, и, честно говоря, меня это мало интересует.

– Я не поеду, – говорит Сахаров.

– Я тоже, – немедленно присоединяюсь я. – Дамы поедут вдвоем, а господа по-мужски посидят чуток в баре. Не возражаете, Михаил Данилович?

Он молча кивает. Взгляд вежлив, но равнодушен. Ни любопытства, ни тревоги.

– Только я не очень разговорчивый собеседник, – лениво бросает он, – извините.

– Я тоже не из болтливых, – поддакиваю я.

А дальше происходит все как по писаному. Мы провожаем жен до автобуса и уже готовы повернуть к трапу, как он предлагает:

– Может, пройдемся по набережной? Выпьем по стакану

каберне.

Из полутемного массандровского магазина мы выходим разморенные вином и прогулкой по размягченному солнцем асфальту. Диалог невнимательно-безразличный.

– Не люблю Ялты. Одна набережная и узкие, пыльные улочки, ползущие в гору.

– А санатории?

– Лучшие санатории за Ялтой – в Ливадии и Мисхоре. А здесь один пляж. Кстати, он под нами. Выкупаемся?

– В бассейне чище.

– Бассейн – это коробочка. А я плавать люблю. Не хотите – подождите на берегу. Минут двадцать, не больше.

Он выбрал клочок пляжа почище, проковылял по камням в воде и вдруг, нырнув, быстро уплыл вперед, почти невидный в прибое. Я тотчас же засек воспоминание. В шестнадцать лет я так же поджидал его на пляже в Лузановке, а он – если то был он – мелькал движущейся точкой вдаль. Он и в детстве резвился дельфином, не обращая внимания на оградительные буйки.

Опасно поддаваться навязчивой идее и подгонять под нее все, что просится подогнуть. Начнем с исходного пункта: Сахаров есть Сахаров. Преуспевающий оценщик комиссионного магазина. Муж влюбленной в него пышнотелой блондинки. Неглуп, практичен. Нравится женщинам, но не кокетничает. Так не ищите знакомого в незнакомом, полковник, не будите давно уснувших воспоминаний. Подозрительность –

плохой исследователь человеческих душ.

На теплоход мы возвращаемся и сразу – в бар. Мальчишка в белой курточке переставляет на стойке бутылки с иностранными этикетками.

– Попробуем «Мартини», Михаил Данилович, – предлагаю я тоном знатока-дегустатора.

Сахаров улыбается:

– Это вам не загранийс. В лучшем случае подадут фирменный или дамский. Правда, бой?

Я настораживаюсь. Реплика режет ухо. Мальчишке тоже.

– Я не бой. Если говорите по-русски, обращайтесь, пожалуйста, как полагается.

Молодец бармен, хотя тебе и не больше семнадцати лет. Срезал-таки оценщика. А может быть, тот сказал это нарочно, с целью подразнить меня: вот тебе, мол, и промах разведчика, лови, мил друг, если сумеешь. Как говорится, «покупка» вполне в духе моего давнего знакомого Павлика Волошина.

Сахаров, игнорируя реплику бармена, не очень заинтересованно спрашивает:

– А что же есть в репертуаре?

– Могу предложить «Черноморский».

Это обыкновенная смесь ликера, водки и коньяка. Гусарский «ерш».

– Как на войне, – смеется Сахаров. – Мы так же мешали трофейный ликер, чтобы отбить сладость.

– Где воевали? – мимоходом спрашиваю я как можно равнодушнее.

– Где только не воевал! И под Вязьмой, и на северо-западе. Продолжать ему явно не хочется, и я не настаиваю. Отставляю с отвращением «ерш» и потягиваюсь:

– Ну что теперь делать будем? Шляфен или шпацирен генен?

– По-немецки вы говорите как наш старшина из Рязани.

– А вы?

Он пожимает плечами.

– Научился немного в лагере.

– В каком?

– В плену. На Западе.

– По вашей комплекции не видно. Разве шрам только.

– Американцы, захватив лагерь, откармливали нас, как индеек. А шрам – это с детства. Нырнул неудачно, рассек о камень.

Выходит, Сахаров есть Сахаров, энный человек со случайным сходством с кем-то, тебе очень знакомым. Настолько знакомым, что у тебя даже при мысли о нем холодеет сердце. Но пусть оно не холодеет, тем более, как нам тогда сообщили – потом, позже, – нет в живых этого человека. Обычной гранатой-лимонкой разнесло его в куски на бывшей Соборной площади. А бросил гранату даже не наш парень, то есть не из нашей группы: Седой знал его, а мы нет. Я, признаться, очень огорчился, что это была не моя граната.

Ну что ж, полковник Гриднев может теперь бездумно продолжать свой круиз по Черному морю.

Но...

Сахаров, прежде чем свернуть в коридорчик, где находится его полулюкс, снова закуривает. И снова знакомый жест. Два пальца, отставленный мизинец и пристальный задумчивый взгляд на тлеющий огонек сигареты. Такие привычки неискоренимы потому, что их не замечают и о них не помнят. И они индивидуальны, как отпечатки пальцев, двух одинаковых быть не может.

Нет, бездумный круиз не продолжается.

Я и Пауль Гетцке

Сидя в кресле каюты на шлюпочной палубе, я подытоживаю воспоминания и впечатления дня.

Более тридцати лет назад, когда Павлик Волошин уезжал в Берлин к отцу, он уже курил присланные отцом английские сигареты «Голдфлейк». Курил щегольски, держа сигарету большим и указательным пальцами, отставив при этом мизинец, и вынимал ее изо рта, поглядывая на тлеющий огонек. Точно так же он закурил ее и в сорок третьем году, когда появился в Одессе у своей матери на улице Энгельса, вынужденно переименованной в дореволюционную Маразлиевскую. Был он в черном мундире СС, в звании гауптштурмфюрера и в должности начальника отделения гестапо, я не

знал точно, какого именно отделения, но интересовался он, как и все в гестапо, главным образом одесским подпольем. Он вежливо и церемонно поцеловал руку Марии Сергеевне, театрально обнял меня как старого школьного друга и закурил. Тогда я и узнал, что зовут его уже не Павлик Волошин, а Пауль Гетцке, по имени мачехи, оставшейся в Мюнхене. Отец его к тому времени уже умер.

Навязанную мне роль старого друга я сыграл без преувеличенной радости, но и без растерянности и смущения. Встретились два бывших школьных приятеля и поговорили по душам о прежней и новой жизни.

– Кавалер Бален-де-Балю. Помнишь, маркиз?

– Конечно, помню.

– Кого из ребят встречаешь?

– Мало кого. Разбрелись люди. Тимчука видел.

– Тимчука и я видел. Он у румын в полиции. Думаю взять его к себе.

– Твое дело. Я с ним не дружу.

– А из девчонок кто где?

– Кто-то эвакуировался, кто-то остался.

– Галку встречаешь?

– Нет. Из дома меня выселили. В твоей светелке живу.

– Мать правильно поступила. Комната мне не нужна. А ты почему из города не удрал?

– В армию меня не взяли – плоскостопие. А эвакуироваться трудно было.

– Ты ж комсомольцем был.

– Как и ты.

Волошин-Гетцке захохотал и потрепал меня по плечу.

– Грехи молодости. Гестапо тоже не обратит внимания на твое комсомольское прошлое. Хочешь, редактором сделаю?

– Поганая газетенка. Уж лучше наборщиком.

– Значит, душой с Советами?

– С Россией. Русский я, Павлик.

– Не Павлик, а Пауль. Я теперь немец по матери. По второй матери, баронессе фон Гетцке. Она усыновила меня и воспитала в духе новой Германии. Какой на мне мундир, видишь?

Я промолчал. Я видел и внешность и нутро гауптштурмфюрера, так радостно продавшего свою родину и народ. Даже сдержанная Мария Сергеевна после его ухода сказала мне с нескрываемой болью:

– Это уже не мой сын, Саша. Чужой. Совсем, совсем чужой...

Я попробовал сыграть:

– Что вы, Мария Сергеевна! Павлик как Павлик. Только зазнался.

– Нет, не зазнался, Саша. Онемечился.

– Грустно, – сказал я.

– Не только. Страшно.

Мне тоже было страшно. По краю пропасти идти не хотелось. Но Седой сделал неожиданный вывод:

– Перебрасывать тебя в катакомбы пока необходимости нет. Даже наоборот. Листовки, конечно, бросишь, а из школьной дружбы с гестаповским чином можно извлечь и пользу. Рискнешь?

Я думал.

– Если боишься, не неволю.

– Не боюсь. Трудно.

– А мне не трудно?

– Так ведь играть надо. А какой из меня актер!

– Сыграть нейтрала не так уж сложно. Немножко испуга, растерянности, сомнений. А вражды нет.

– Да мне каждое слово его ненавистно. В глаза плюнуть хочется.

– А ты гляди с завистью на правах старого друга, которого жизнь прибила.

– Сорвусь.

– Не исключено. А кто из нас не рискует?

И я рискнул. Пауль пришел через несколько дней в воскресенье. Пришел не столько к матери, которой он церемонно целовал руку, сколько ко мне. Влекли, должно быть, школьные воспоминания, возрастные ассоциации, возможность пооткровенничать с человеком, который для гестаповца безопасен. А может, и пощеголять хотелось тем, как изувечили душу русского школьника гитлерюгенд и впрыскивания речей Розенберга и Геббельса.

Разговаривали мы свободно, не стесняясь, спорили и

убеждали друг друга – я с позиции «прибитого жизнью» нейтрала, он с высоты счастливчика, удачливого игрока, новоиспеченного хозяина жизни.

– Удивляюсь твоей ограниченности. Неужели тебя, будущего юриста, удовлетворяет деятельность типографского наборщика?

– А где университет, чтобы юрист будущий стал настоящим?

– После войны мы откроем университеты. Не очень верь демагогии Геббельса: она для быдла. Каждый здравомыслящий немец понимает, что управлять Украиной без украинцев, а Россией без русских будет невозможно. Понадобятся специалисты во многих областях знания. Конечно, командовать будут победители, но и побежденным останется немалый кусок пирога.

– А кто жует этот кусок пирога? Жулье, подонки, прохвосты и уголовники.

– Издержки первых лет войны. Кого же выбирать из вас, если интеллигенция удирает при нашем приближении или отсиживается в наборщиках? Все вы поклонитесь после победы.

– Чьей победы?

– За такие вопросы даже школьных друзей отправляют в гестапо.

– Прости, Пауль, но я ведь не тупица и не баран, на которых рассчитана пропаганда профашистской «Одесской газете».

ты». Я спрашиваю тебя именно как школьного друга: а сам ты веришь в победу?

Я не играл в искренность, я был искренним во всем кроме обращения к гауптштурмфюреру Гетцке как к старому школьному другу.

Он верил.

– У нас, как тебе известно, вся Европа и большая половина Европейской России. Не так долго ждать.

– А Сталинград?

– Эпизод. Случайный просчет.

Он нажал двумя руками крышку стола, словно хотел его сдвинуть, – жест, который мне запомнился с первой встречи после его появления в Одессе и которым он словно хотел подчеркнуть свое желание переменить тему беседы, – и добавил:

– О шахматах не забыл? Может, сыграем партийку?

Партию эту – я играл белыми с открытым центром – он выиграл легко и красиво. В середине игры создалось парадоксальное положение, когда белые одним махом могли вырвать победу. И я сделал этот ход конем, обуславливающий, казалось бы, неизбежное поражение черных. Но у черных был единственный контршанс, парадоксальный, я повторяю, контршанс – его трудно было найти, и все же Пауль нашел этот опровергающий, достойный выдающегося мастера ход и выиграл позицию, а затем и партию.

– Вот тебе и ответ на твой миф о Сталинграде, – сказал он.

Я не спорил, хотя величины были несоизмеримы, а сравнение смехотворно, но партия сама по себе была очень эффективной, я хорошо запомнил ее, и, как оказалось, не зря.

Третий разговор в светелке Павлика носил уже официальный характер. Павлика не было, школьного приятеля не было, старого одессита не было. Был гауптштурмфюрер Гетцке, черномундирный эсэсовец и следователь одесского гестапо.

– В городе опять появились листовки, Гриднев.

Я неопределенно хмыкнул:

– Что значит опять? Они уже два года как появляются.

– Когда я приехал, они исчезли.

– Не считаешь ли ты, что подпольщики тебя испугались?

– Не знаю. Но после моего появления в Одессе листовок какое-то время не было.

– А чем я, собственно, обязан этой высокой консультации?

– Листовки набираются в типографии «Одесской газеты».

Я засмеялся:

– У нас на каждого линотиписта свой агент сигуранцы! Строки не наберешь без просмотра.

– Есть и ручной набор.

– Акцидентный. Несколько стариков набирают афиши, объявления управы и приказы комендатуры. Проследить за ними легче легкого.

– И все-таки листовки появляются в городе.

– Не проще ли предположить, что еще до эвакуации Одес-

сы нужный шрифт был вывезен из типографии и где-нибудь в городе налажен набор листовок?

– Подпольную типографию разгромили два месяца назад. Я уже затребовал всю документацию из сигуранцы. Погляжу, куда она меня выведет.

Я знал, куда выведет. Федька-лимонник понятия не имел о подпольной типографии. Федька-лимонник охотился за мной как за причастным к распространению листовок. Он не знал ни моего имени, ни моей клички, а сигуранца не знала моей новой квартиры. По одному, несомненно, поверхностному описанию найти меня не могли.

Но Пауль Гетцке умел думать и сопоставлять факты. Моя работа в типографии «Одесской газеты» – это он знал. Мое жительство у дяди Васи установлено добровольными или вынужденными показаниями соседей. Мое описание Федькой-лимонником кое в чем все-таки совпадало. А разгром явочной квартиры и мое появление у Марии Сергеевны были еще легче доказуемым совпадением. Седого в Одессе не было, и никто, кроме него, не мог бы переправить меня в катакомбы.

Ночью во время комендантского часа, когда на улице не было ни души, двое молчаливых эсэсовцев отвезли меня в штаб-квартиру гестапо. Отвезли довольно вежливо, не надевая наручников и не толкая прикладами автоматов в спину.

Гетцке встретил меня в кабинете без дружеских излишних, молча указал на место возле стола и произнес с любез-

ной улыбкой:

– Ты, как я понимаю, не удивлен, Гриднев. Так поговорим по душам, без игры в нейтралов и школьных друзей.

Я молча ожидал продолжения.

– Я изучил всю документацию по делу явки на Ришельевской, – продолжал Пауль. – Сообщение известного нам одессита, не очень уважаемого как личность, но вполне подходящего как свидетель, ничего не говорит о подпольной типографии, однако довольно точно описывает тебя как постоянного жильца этой квартиры. Описание подтвердили и соседи по дому. Но дело даже не в описании. Донос, мой друг, прямо обвиняет тебя в авторстве и распространении листовок со сводками Советского Информбюро. Учитывая твою работу в типографии «Одесской газеты», я склонен думать, что обвинение звучит довольно правдоподобно. Подтверждается оно и другим обстоятельством: в день разгрома явки ты уцелел и по счастливой случайности встретил на Дерибасовской мою мать, которой и объявил о поисках новой квартиры. Мотивировал это выселением из дома на Канатной, хотя из того дома тебя выбросили еще в сорок первом году. Итак, все сходится, мой школьный друг. В твой нейтрализм, между прочим, я никогда не верил: такие, как ты, могут быть только врагами. Я сразу понял это после твоего отзыва об «Одесской газете» и прохвостах, на которых мы опираемся. Актер ты плохой, сыграл свою роль плохо, и спектакль, я думаю, уже окончен.

Я продолжал молчать. Все было ясно. Но, оказалось, еще не все.

– Я мог бы тебя, конечно, подвергнуть обычной процедуре допроса, но ты слишком хлипкий, и после обработки моими молодчиками из тебя уже ничего не выжмешь. Одним подпольщиком будет меньше, только и всего. Но мне нужен не один, а вся ваша группа. И я придумал, как до нее добратся. Тебя не будут ни бить, ни подвешивать, ни прижигать сигаретами, ни топтать сапогами. Ты уйдешь отсюда таким же чистеньким и свеженьким, как пришел. Никто, кроме матери, не знает, что ты был у нас, но на нее можно положиться. С этой же минуты, однако, каждый твой шаг будет под нашим наблюдением, и с кем бы ты ни встретился, кого бы ни посетил, даже просто перемолвился с кем-либо на улице, тот будет схвачен немедленно. Знаешь, как рыбу берут сетью? Мелкую вышвыривают, крупную на таган. Так мы и переловим всех твоих действующих и перспективных связных, а может быть, выйдем и на кого покрупнее. Игра стоит свеч, мой школьный товарищ, и мы в нее поиграем, чего бы нам это ни стоило. Что скажешь, наборщик Гриднев? Или у тебя язык отнялся от страха?

– А чего ты, собственно, ждешь: согласия или отказа?

Он хохотнул.

– Тебе нельзя отказать в присутствии духа. Так, значит, начнем игру.

Он позвонил. Вошел один из доставивших меня охранни-

ков.

– Отправьте этого господина домой, – сказал гауптштурм-фюрер по-немецки. – Обращаться вежливо и учтиво. Никакого насилия.

Меня увели. Мария Сергеевна встретила нас с каменным лицом, не говоря ни слова, и так же молча проводила меня в мою светелку. Один из гестаповцев остался на улице. Утром его, вероятно, должны были сменить.

До конца комендантского часа оставалось всего четверть суток. Тишина и темнота не только пугают, но и заставляют думать.

Не зажигая света, я думал.

Моя квартира считалась явочной. Не получая от меня сведений, Седой мог явиться сам или прислать связного. Из топографии меня, конечно, выкинут, сделав это в присутствии тайных или явных гестаповцев, которые наверняка проследят любую мою попытку с кем-нибудь встретиться и что-то кому-нибудь передать. Даже Тимчука я не мог предупредить о вызове в гестапо: взяли бы и Тимчука.

Оставалась Галка или, вернее, ее чердак с дыркой в чулане. От дома на Маразлиевской до моего бывшего обиталища на Канатной можно было дойти за десять минут. В опасности оккупационной ночи эти десять минут могли растянуться до часа.

У выхода на Маразлиевскую, как я и предполагал, дежурил шпик.

Выхода на Канатную из дома не было. Но если спуститься из окна во двор, взобраться по крыше дворового погреба на двухметровую каменную стену, можно было перемахнуть во дворик другого дома, выходявшего на Канатную. До цели оставалось еще четыре дома, шесть подъездов, двое ворот и кусок еще одной полуразрушенной стены – шагов семь-восемь. Можно было нарваться на патруль, а может быть, и нет: все-таки шесть подъездов и двое ворот.

Тишина и темнота не только угрожают, но и хранят.

Самое трудное было спуститься из окна второго этажа в чернильную мглу двора. Водопроводная труба у окна была дряхлая и ржавая, но боялся я не упасть, а загреметь.

Тогда конец.

Я стоял у открытого окна и слушал тишину, как сладчайшую музыку. Что значили в сравнении с ней Бетховен или Моцарт! Она пела о риске, о свободе, об удаче гасконца Бален-де-Балю.

Я потянулся к трубе и, обхватив ее коленками, повис. Она выдержала.

Медленно, метр за метром я опустился на каменные плиты двора.

Никого.

Канатная встретила такой же чернильной тьмой. Ни одного освещенного окна, ни одного фонаря, ни одной звезды в небе.

И ни одного патрульного.

Четыре дома, шесть подъездов я прошел, прижимаясь к стене. У груды битых кирпичей на мостовой по-пластунски переполз на угол бывшей улицы Бебеля – румынское название ее я забыл. Подъезд был открыт, обе двери его кто-то давно снял на растопку. Беззвучно, как кошка на охоте, я добрался до чердака. Он был заколочен, но я знал, что гвозди фальшивые – одни ржавые шляпки, и рванул дверь на себя. Она открылась со зловещим уханьем... Я так и замер в ожидании тревоги. Но тревоги не было; дырку чердака, засыпанную соломой, нашел без труда и нырнул в знакомый чуланчик, громыхнув некстати подставленным стулом.

В дверь чуланчика тотчас же просунулась Галка в белой ночной рубашке – я только эту рубашку и видел, но Галка почему-то сразу разглядела меня.

– Ты?

– Я.

– Что-нибудь случилось?

– Да.

– Погоди минутку, я оденусь.

Я постоял в двери, потом шагнул в комнату, освещенную огарком свечи.

Галка была уже в халатике и поправляла сбившиеся на лоб волосы.

– Провал, – сказал я и сел к столу.

Галка закрыла рот рукой, чтобы не вскрикнуть.

– Седой?

– Пока только я.

И я рассказал Галке о разговоре в гестапо.

– Надо тебе бежать. И немедленно.

– Куда и как?

– У тебя же есть ночной типографский пропуск.

– Пропуск отобрали в гестапо.

– Попробуй тем же путем вернуться домой. Я предупрежу товарищей.

– О том, что я прокаженный? Не поможет. Пауль заберет всех моих школьных друзей. Для профилактики. Первой будешь ты.

– Я скроюсь. Других предупредим. Важно дождаться возвращения Седого. Что-нибудь придумает.

– У нас нет времени.

– Что же ты предлагаешь?

– Уничтожить Павла. Пострадаю только я.

– Чему поможет это самопожертвование?

– Подполью.

Галка задумалась. В свете огарка ее лицо казалось серым, как асфальт.

– Есть выход. Я разбужу Тимчука. Ты знаешь, ему нужно постучать в стенку с лестницы. Спит чутко.

Через десять минут явился Тимчук, заспанный, но одетый и с автоматом через плечо.

– У нас добрых три годыны, – сказал, выслушав. – Выведу вас как арестованных без ночных пропусков, вроде бы в ко-

мендатуру, а на самом деле к Кривобалковским катакомбам. Вход знаю.

– А патруль?

– Прошмыгнем. Если не поверят, кончим. Больше двух человек не ходят. Ты одного, я другого. – Он протянул мне новенький «вальтер». – Стреляй в упор, прижав дуло к телу, – меньше шума.

Как мы дошли, вспоминать не хотелось. Длинно и муторно. Но все-таки я доказал Паулю Гетцке, что даже один просчет в партии может окончиться поражением сильнейшего.

Потом нам сказали, что гауптштурмфюрер Гетцке брэнное свое существование закончил. Его убили гранатой на Соборной площади, когда он, выйдя из машины, зачем-то пошел к киоску напротив. Узнали Гетцке только по документам, так как лицо было обезображено взрывом гранаты.

Повторяю, я долго жалел потом, что то была не моя граната.

Я начинаю розыск

Лента воспоминаний раскручивается и исчезает. Я встаю с кресла и поднимаюсь на капитанскую палубу. Капитан встречает меня в точно сотканном из сахарной пудры мундире с пуговицами и нашивками, отливающими червонным золотом. Он высок, русоволос и красив, этакий экранний вариант моряка. Создает же Господь Бог такую картинную че-

ловеческую породу.

К тому же он еще и умен.

Внимательно рассмотрев мое служебное удостоверение, он приглашает меня в кабинет. Хорошие копии Тернера и обрамленная тонким багетом гравюра легендарного парусника «Катти Сарк» украшают стены.

– Чем обязан? – спрашивает он.

– Есть подозрение, что один из пассажиров рейса выдаст себя за другого. Пока только подозрение. Возможно, это честный советский гражданин, а быть может, государственный преступник. Хорошо замаскированный и очень опасный.

– Что требуется от меня?

– Обеспечить мне радиотелефонную связь с Одессой, а возможно, и с Москвой. Гарантировать полную секретность операции.

– А если он сойдет в первом порту? Скажем, здесь же, в Ялте, или в Сочи?

– Пока он, надеюсь, ничего не подозревает. Да и невыгодно ему раскрываться: он уверен, что против него никаких доказательств.

– Я не должен знать, кого вы подозреваете?

– Фамилия его Сахаров. Сидит с женой за нашим столиком в ресторане. Никаких инцидентов в пути, полагаю, не будет.

В радиорубке я связываюсь по радиотелефону сначала с

Одессой. Полковника Евсея Руженко знаю лично, представлений не требуется, и разговор начинается сразу же, без преамбулы.

– Звоню с теплохода «Иван Котляревский». Стоим в Ялте.

– В отпуску?

– Прервал отпуск. Срочное дело, Евсей.

– Излагай.

– Есть подозрительный человек среди пассажиров. Проверить надо. И немедленно. Узнай все, что известно из сохранившихся в Одессе немецких архивов времен оккупации о следователе гестапо гауптштурмфюрере Гетцке. Пауль Гетцке. Записал? Он же Павел Волошин, родившийся и учившийся в Одессе. Кстати, в одной школе со мной. Как он попал в Германию и превратился в Пауля Гетцке, рассказывать долго. Узнаешь у Тимчука – тоже соученика, а сейчас крановщика в одесском порту. Под именем Гетцке, точнее фон Гетцке, Павел и вернулся в Одессу в сорок втором году. А в конце сорок третьего его убили на площади Советской Армии, бывшей Соборной. Подробности найдешь в архивах. Лично я думаю, что это камуфляж: убит другой с документами Гетцке, с дальним расчетом, понимаешь? В общем, для опознания мне нужны, если сохранились, его фотокарточки и образцы почерка. Разущи также оставшихся в живых свидетелей, которые могут вспомнить что-либо о его привычках, вкусах, манерах и особенностях поведения. Меня интересуют не допросы, а поведение вне службы. Может быть,

уцелели его неотправленные письма на родину или, что более вероятно, какие-нибудь записки, пометки на документах, резолюции. Имеются ли сведения о его друзьях и родственниках в Германии.

– Ясно.

– Материал шли по фототелеграфу на адрес нашего ведомства в Сочи, а лично со мной связывайся в любое время на теплоходе.

– Бу... еде, как говорит Райкин. Все?

– Пока все.

В Москве тем же способом по радио связываюсь со своим непосредственным помощником и заместителем майором Корецким. Кратко объяснив, откуда и зачем я звоню, тщательно перечисляю все, что необходимо сделать сегодня и завтра.

– Единственное неизвестное в уравнении – личность самого Сахарова. Подробности метаморфозы Волошин-Гетцке узнаешь от подполковника Руженко в Одессе. Свяжись немедленно. Кстати, обсудишь и возможности дальнейшего превращения Гетцке в оценщика московской комиссионки Сахарова. Бесспорных доказательств этого превращения у меня нет – только личные впечатления и несколько схожих примет. Нужно что-то более веское. Вот и попробуем это веское отыскать. Возраст у Сахарова приблизительно мой: пятьдесят два – пятьдесят три. По его биографии – воевал, был в плену, освобожден американцами и возвращен (выяс-

ни: беспрепятственно или со скрипом) на родину, в Москву. Учти, что из биографии его для нас существенны главным образом довоенный и военный периоды, а также пребывание в плену вплоть до проверки его по возвращении в расположение наших частей. Очень важны фотоснимки довоенного и военного периодов, письма, записки и вообще образцы его почерка того времени. Есть ли родные и знакомые, знавшие его до войны, во время войны и особенно в лагере военнопленных до освобождения его американским командованием. Интересно, встречались ли они с ним после его возвращения из плена и не нашли ли каких-либо странностей, не соответствовавших его прежним привычкам, манерам, облику и характеру.

– Месяцы работы, – слышу я в ответ.

– Месяцы сожми до недели. Сегодня вторник, а в субботу я должен знать, тот ли это Сахаров, за которого он себя выдает. Держи связь со мной через капитана «Котляревского», а образцы почерка и фотоснимки передавай по фототелеграфу в Сочи, Сухуми, Батуми и Новороссийск. Завтра мы будем в Сочи, послезавтра в Сухуми и так далее. Ночь плывем, день стоим. И еще: все добытое должно извлекаться осторожно, так, чтобы у опрашиваемого не возникло никакого беспокойства и тревоги. Лучше всего действовать под видом фронтового друга, интересующегося судьбой своего соратника. Теперь главное. Доложи генералу обо всем, что я тебе рассказал, и попроси разрешения на расследование.

Это прежде всего. Если разрешит – а, думаю, так и будет, – создавай группу. Подбери лучших. Виктора, например.

– У Виктора срочное задание.

– Ну Ермоленко. Остальных на твое усмотрение.

Возвращаюсь в каюту и нахожу Галку, аппетитно высасывающую сладкую мякоть груши.

– Как развиваются события? – спрашивает она, лукаво прищурив глаз.

– События? Какие события? – делаю невинное лицо и получаю в ответ Галкино привычное:

– Не финти.

Удивление в квадрате. Не проходит: Галка безжалостно анатомирует:

– Тебя что-то заинтересовало в Тамаркином муже. Вы еще на причале с Тимчуком к нему присматривались. Думаешь, не заметила? Заметила. И за обедом ты явно играл. Во-первых, скрыл от него свою профессию...

– Почему? Я и в самом деле юрист.

– Но не член коллегии защитников. Во-вторых, твои актерские интонации – я-то их отлично знаю. Наигранное безразличие и чем-то обостренный интерес. Так ведь?

– Допустим.

– Может быть, это не государственная тайна и не закрытая для простого смертного?

– Для тебя нет. Даже больше: твоя работа в институте криминалистики, близость к одному нашему общему делу в про-

шлом. твой здравый смысл и умение отличать в поведении человека ложь от правды и фальшь от искренности позволяют включить тебя в группу.

– Ничего не понимаю. Какая группа?

– Ты и я. Нас поддерживают одновременно Москва и Одесса.

– Шутишь?

– Насчет группы – да. А серьезно – начинаем расследование, как только придет «добро» из Москвы. Словом, отпуск кончился, как верно отметил упомянутый тобою Тимчук.

– А нельзя без загадок?

– Загадка только одна. Кто такой Сахаров?

– Откуда этот внезапный и непонятный для меня интерес?

Пришлось раскрутить перед Галкой ту же ленту воспоминаний. Галка слушала серьезно и взволнованно, отражая на лице всю смену эмоций – от тревоги до недоверчивости. К концу моего рассказа последняя явно пересилила.

– Пауль Гетцке – Сахаров? Но его же убили в конце сорок третьего.

– По лицу убитого узнать не могли: оно было обезображено взрывом гранаты. Личность его установлена только по документам.

– Но задание ликвидировать Гетцке было же согласовано с Седым.

– Несомненно. Но в кого бросил гранату Терентий Саблин, боевик из второй группы Седого, мы так и не узнали.

Терентий был убит осколком той же гранаты.

– Значит, предполагаешь камуфляж?

– Не я один. Предполагал и Седой. Только у нас не было доказательств.

– А какие были основания для такого предположения?

– Вторая граната. Один из наших пареньков, страховавший Терентия, слышал два взрыва, один за другим. У Терентия была всего одна граната. Кто же бросил вторую? И зачем? Возникло предположение, что о подготовке покушения на Гетцке знали в гестапо и вместо Пауля подставили, другого с его документами.

– Не могу понять, – вздыхает Галка.

– Чего?

– Смысл подстановки ясен. А вторая граната зачем?

– Чтобы нельзя было опознать убитого. Терентий бросал под ноги – удар мог пощадить лицо. Вторую гранату бросили в голову.

– Не проще ли было Паулю перевестись из Одессы, не прибегая к столь сложным и кровавым мистификациям?

Я уже не могу сидеть. Я хожу взад и вперед между койками каюты, размышляя вслух.

– Видишь ли, во-первых, Волошин-Гетцке игрок. В картах – блеф и риск, в шахматах – неожиданность и атака. Таков он и в жизни. «Проще» для него неинтересный тактический ход. Во-вторых, у берлинского начальства Пауля были, по-видимому, на него свои расчеты. Уже тогда гитлеров-

ская разведка забрасывала к нам и в сопредельные славянские страны специально подобранных агентов на длительное оседание. Посылали человека на случай, если понадобится в будущем. Жил бы законспирированный, незаметный до того, пока не потребуется, Гетцке был для этого идеальным кандидатом. Родной для него русский язык, знание правовых норм и моральных устоев советского общества, его эстетических вкусов и бытовых черт плюс преуспевающая деятельность на гестаповском поприще и наиболее ценимые качества империалистического разведчика – ум, хитрость, жестокость и неразборчивость в средствах. Все остальное уже было делом техники.

– А почему ты решил, что Сахаров – это Волошин?

– Узнал его. И не я один.

– Видела. На причале. – Тон Галки уже становился чуть ироничным. – Интересно, по каким признакам вы его узнали? Я, например, и сейчас не узнаю.

– Ты знала его мальчиком. В эсэсовском мундире не видела. В «Пассаже» он не жил, по улицам разъезжал в машине, а в гестапо, к счастью, тебя не допрашивал.

– Пусть так. Но за три десятка лет человек иногда меняется до неузнаваемости.

– Например, отращивает бороду.

– Давай без сарказма, – уже сердится Галка. – Я не знаю, потому и спрашиваю.

– А я и объясняю. Ты знала Павлика Волошина, но не

встречалась с Паулем Гетцке. А мы с Тимчуком встречались. И неоднократно. Лицом к лицу, как говорится.

– И что же в лице Сахарова оказалось волошинским?

– Во-первых, глаза. Или, точнее, что-то общее в них, собирательное: холодное недоверие к собеседнику, колючий огонек, умение скрывать что-то свое, подспудное, другим неизвестное. Я не могу сформулировать точнее эту общность глаз, но, заглянув в глаза Сахарова, внутренне содрогнулся – столь знакомыми они мне показались.

– Это не для прокуратуры.

– Конечно. Впечатление не доказательство: показалось, приснилось, привиделось. Есть, правда, и другая общность портрета. Похожи лоб, высокий взлет бровей, ноздри хищника, маленькие уши. Увы, все это не «особые приметы» – найдешь у множества лиц в толпе. Но есть какие-то штрихи индивидуальности, неповторимые оттенки личности, характерные, присущие только одному человеку привычки. Один пробует языком когда-то беспокоивший его зуб, отчего лицо чуть-чуть кривится и морщится. Другой в минуту задумчивости теребит мочку уха, третий предпочитает чесать затылок, четвертый полуприкрывает рукою рот, когда удивляется. По таким привычкам часто безошибочно угадываешь сходство.

Галка напряженно молчит, думает. Глаза по-прежнему недоверчивы.

– У Павлика была своя манера входить в воду с пляжа, –

вспоминает она, – нырял под волну на мелководе и плыл под водой, пока позволяло дыхание, затем выскакивал на волну, как дельфин, и уплывал далеко в море, почти невидный с берега. Впрочем, это тоже не «особая примета». Так купаются многие.

– В том числе и Сахаров.

– Где это ты видел?

– На пляже в Ялте, когда вы уезжали на экскурсию.

– Смешно.

– Скорее любопытно. Не «особая примета», согласен. Но есть и особая. У Павлика Волошина, когда он начал курить, появилась и своя манера закуривать: затянуться, вынуть сигарету изо рта двумя пальцами, отставив мизинец – этакий одесский лихаческий шик, – и посмотреть на тлеющий огонек папиросы. Точь-в-точь так же закуривает и Сахаров. Привычка настолько слилась с его личностью, что он забыл о ней, как об «особой примете». Мелкий просчет, но просчет.

– А ты рискнешь утверждать, что такая же мальчишеская привычка не сохранилась с детских лет и у некоего Сахарова?

– Не рискну, конечно. Приметы не убеждают, а настораживают.

– А шрам? – вдруг вспоминает Галка. – У Павлика его не было.

– Возможна пластическая операция.

– Не подгоняешь ли ты доказательства к версии? Бывают

такие следователи.

– Знаю, что бывают. Повторяю, я еще ни в чем не убежден, но причин для настораживания все больше и больше. Тут уже не только мистика интуиции и случайность совпадений «особых примет», настораживают и шероховатости в биографии Сахарова.

– Успел узнать?

– Да, из его рассказа. Кстати, говорит о важных событиях с полнейшим безразличием к теме, с какой-то подчеркнутой равнодушной интонацией. Как о нечто само собою разумеющемся. Воевал, был в плену, сидел в лагере для военнопленных, освобожден американцами, и, по-видимому, без всяких сложностей.

– Н-да... – задумывается Галка.

Искорки недоверия в ее глазах гаснут. Глаза уже не щурятся, они широко открыты, сосредоточенны и серьезны.

– Обычный в те годы способ заброски агента, – говорит она. – Придется проверять по двум каналам.

– Уже начал. Пока ты любовалась алушкинскими красотоми, я переговорил с Москвой и Одессой. Завтра получу первую информацию.

Разговор обрывается, мы приходим к одной мысли, которой будут теперь отданы все наши думы, силы и чувства.

– А все-таки жаль, – говорит она, – что отпуск кончился.

Сочи

Я разговариваю с Одессой

Завтракаем на подходе к Сочи. На палубе тридцать градусов в тени, а здесь, в ресторане, кондиционеры снижают жару до восемнадцати. Свежо и прохладно. Официантки в крахмаленных фартучках разносят кофе по-варшавски с пастеризованным молоком.

Разговор не клеится. Сахаров, как и вчера, молчалив и сумрачен. Тамара злится – должно быть, поссорилась с мужем; вышла к завтраку с покрасневшими веками и разговаривает только с Галкой о предстоящей экскурсии в Мацесту и Хосту.

Я молча дожевываю сырники и вздыхаю:

– Предпочел бы хороший бифштекс по-деревенски.

Когда-то у Волошиных их очень хорошо готовила домработница Васса.

Он спрашивает:

– Почему по-деревенски?

– С поджаренным луком, – поясняю я. – Так он когда-то именовался в ресторанных меню.

– Не знаю, – пожимает он плечами, – до войны по ресторанам не хаживал. А сейчас они без названия. Просто бифштекс с луком. Лучше всего их готовят в «Берлине».

– В Берлине? – недоумеваю я.

– Я имею в виду ресторан «Берлин», – снисходительно поясняет он.

– В Одессе в «Лондонской» готовят не хуже, – заступает за Одессу Галка.

– Что это за «Лондонская»? – интересуется Сахаров.

Я вмешиваюсь:

– Так называлась раньше гостиница «Одесса» на Приморском бульваре. По привычке старые одесситы ее и сейчас называют «Лондонской».

– С раскрашенным Нептуном в садике? – улыбается Сахаров. – В воскресенье с Тамарой там обедали. Неплохо. А вы, значит, тоже одессит?

Спрашивает он, как обычно, лениво, без особой заинтересованности. Именно так спросил бы Сахаров. Если же это Пауль, то не узнать меня он не мог, и вопрос, конечно, наигран. Кстати говоря, мастерски, по актерской терминологии – «в образе».

Ну а мой «образ» позволяет не лгать.

– Конечно, одессит. Вместе с Галиной в одной школе учились.

– И воевали в Одессе?

– Оба. Вместе были в оккупации. В партизанском подполье.

– Страшно было?

– На войне везде страшно.

– Верно, – соглашается он. – В плену тоже было горше горького. А что сильнее – страх перед смертью в открытом бою или ежедневный поединок с гестапо?

Если Сахаров – это Пауль, то он допускает просчет. Подлинный Сахаров не должен был бы интересоваться чужой и безразличной ему Одессой, да еще в далекие оккупационные годы. Тогда ему, Сахарову, как говорит он сейчас, самому было несладко, и обмениваться воспоминаниями такой Сахаров едва ли бы стал. Тут Пауль из «образа» вышел.

И я с готовностью подымаю перчатку.

– Страх смерти на войне дело привычное. О нем забываешь, в подполье тем более. Нет ни бомбежек, ни артобстрела. Поединок с гестапо, конечно, не игра в очко, но мы выигрывали и такие поединки. Да и не раз.

Я посмотрел на Галку – она порывалась что-то сказать, но не сказала. И Сахаров перехватил этот взгляд. Он снова «в образе», задумчивый и незаинтересованный. Понял ли он свой актерский просчет, малюсенький, но все же просчет, или настолько убежден в своей неразоблачимости. что ничего и никого не боится? Это совсем в духе Пауля. Игрок всегда игрок – врожденное свойство характера не заслонишь никакой маской.

Похоже, что он играет наверняка. Узнал, но не боится, хорошо замаскирован и может поиграть со мной в кошки-мышки. Пока мои данные – воспоминания, ощущения, приметы, предположения – все это, как говорит Галка, не

для прокуратуры. Акул не ловят на удочку – нужен гарпун.

Может быть, мне даст его Одесса или Москва?

Долго ждать не приходится. К столу подходит официантка и, нагнувшись ко мне, тихо спрашивает:

– Вы товарищ Гриднев Александр Романович?

– Так точно.

– Капитан вас просит подняться к нему на мостик.

– Интересно, зачем это вы ему понадобились? – неожиданно любопытствует Сахаров.

Я мгновенно импровизирую:

– Так ведь это наш старый одесский знакомый. С его помощью мы и получили эту каюту. Ведь билеты на круиз давно распроданы.

– Я знаю, – тянет Сахаров. – А как зовут вашего капитана?

– Невельский Борис Арсентьевич. Старинная родовая фамилия русских мореплавателей и землепроходцев.

Хорошо, что я предусмотрительно узнал имя и отчество капитана. Но с какой стати Сахаров спросил меня об этом? Проверить? Поймать на сымпровизированной выдумке? Пожалуй, когда я уйду, он с пристрастием допросит Галку. Ничего, она вывернется.

Я поднимаюсь на капитанскую палубу, припоминая все сказанное за столом. Ничего особенного. Мелочи, нюансы. Например, демонстративное подчеркивание своего незнания Одессы, его интерес к нашим переживаниям в одесском подполье, но, может быть, мне только это показалось. Ладно,

подождем.

Капитан выходит навстречу мне к верхнему трапу.

– Скорее в радиорубку, – торопит он. – Вас уже ждут.

Меня действительно ждет у радиотелефона в Одессе Евсей Руженко.

– Долго же ты добирался из ресторана. Минут десять жду, – ворчит он.

– Да, но, сам понимаешь, я не хотел показать Сахарову, что спешу к телефону. Тем более это его, кажется, заинтересовало.

– Сахаров – это воскресший Гетцке?

– Есть такая думка.

– Подтверждается думка. Донесением Тележникова секретарю подпольного райкома.

– Какого Тележникова?

– Ты же в его группе был. Седого не помнишь?

– Седого забыть нельзя. Забыл, что он Тележников. Старую. Так о чем донесение?

– О двух гранатах. Не наша граната убила Гетцке.

– Я это знаю.

– Тележников уверен, что нам вместо Гетцке подсунули другого.

– Это я тоже знаю. Меня интересует его досье.

– Досье нет. Или его вообще не было, или его изъяли заранее, еще до отступления.

– Я так и предполагал. Что же удалось узнать?

– Мало. Нет ни его фото, ни образцов почерка. Ни одной его записки, ни одного документа, им подписанного. Со свидетелями его деятельности тоже не блеск. Никто из попавших к нему в лапы не уцелел. Хозяйка квартиры, где он жил, бесследно исчезла во время отступления последних немецких частей из Одессы. Осталась в живых лишь ее дочь, находившаяся в то время у родственников в Лузановке. Ей было тогда десять лет, и многого она, естественно, не запомнила. Помнит красивого офицера, хорошо говорившего по-русски, нигде не сорившего и даже пепел от сигарет никогда не ронявшего на пол. Вот ее собственные слова: «Он курил только безмундштучные сигареты, курил медленно, любясь столбиком пепла. Как-то подозвал меня и сказал: “Смотри, девочка, как умирает сигарета. Словно человек. Остается труп, прах, который рассыплется”. Иногда он с мамой раскладывал пасьянсы и даже научил ее какому-то особенному, не помню названия. Кажется, по имени какого-то короля или Бисмарка».

– А еще? – нажимаю я.

– Еще Тимчук.

– Тимчука оставь. Я уже говорил с ним в Одессе.

– Он добавляет одну деталь, о которой тебе не рассказывал. В минуты раздражения или недовольства чем-либо Гетцке кусал ногти. Точнее, один только ноготь. На мизинце левой руки он всегда был обкусан.

– Это все?

– Скажешь, мало за одни сутки! Но мы еще кое-что выловили. Мать Гетцке, Мария Сергеевна Волошина, до сих пор живет в Одессе. Говорит следующее: «Павлик и в детстве кусал мизинец, я корила его, даже по рукам била – не отучила. Осталась эта привычка у него и когда он вернулся сюда уже в роли немецкого офицера. Я уже не делала ему замечаний: он был совсем, совсем чужой, даже не русский. Друзей у него не было, девушек его я не знаю. Хотя, правда, он рассказывал мне об одной, дочери какого-то виноторговца в Берлине. Имя ее Герта Циммер, я запомнила точно: очень уж смешная фамилия. Павлик говорил, что даже хотел жениться на ней, но немецкая мачеха его, баронесса, не дала согласия на брак, пригрозив, что лишит наследства». Пока все.

– Как ты сказал – Герта Циммер?

– Точно.

– Спасибо. Это уже улов. Продолжай в том же духе. Документацию перешли мне в Москву. А связь поддерживай с «Котляревским» с ведома и разрешения капитана.

– Хороший мужик. Знаю.

– Очень уж элегантен.

– В заграничных требуется. И в своем деле, и в отношениях с людьми безупречен. Можешь полагаться на него в любой ситуации....

Капитан предупредительно встречает меня у входа в свою суперкаюту.

– Заходите, Александр Романович. Очень хочется полю-

бопытствовать.

– Что ж, любопытствуйте.

– Угощу вас настоящим ямайским ромом, остался от марсельского рейса.

– В другой раз с удовольствием. А сейчас, сами понимаете, разговаривал с Одессой, надо кое-что осмыслить и взвесить.

– А как ведет себя неизвестный в заданном уравнении?

– С отменным спокойствием.

– Не сбежит?

– Не думаю. Очень в себе уверен. Кстати, он был за столом в ресторане, когда официантка передала мне ваше приглашение, и крайне заинтересовался. Ну, я и сымпровизировал, сказав, что мы с вами знакомы еще по Одессе и даже каюту на теплоходе получили с вашей помощью. Не возражаете? Тогда просьба: разрешите зайти к вам с женой, когда будете свободны. Версия закрепится, и я могу уже без подозрений навещать вас, когда это потребуется.

– Превосходно, – дружески улыбается капитан, – сегодня же вечером и приходите ужинать. Уверяю вас, что ужин будет не хуже, чем в ресторане.

– И с ямайским ромом? – спросил я.

– И с ямайским ромом.

Я разговариваю с Москвой

Галка ждет меня в каюте переодетая в другое платье и в новые туфли – видимо, собралась на прогулку в город.

– На экскурсию? – интересуюсь я.

– Нет, решили на городской пляж с Тамарой и Сахаровым.

– Он тоже едет?

– А ты разве нет?

– Не могу. Жду вызова из Москвы. Скажешь, что не хочу тащиться по жаре через весь город. Обойдусь душем. Если спросит, конечно.

– Спросит. Он явно обеспокоен твоим визитом к капитану. Я поддержала версию о знакомстве, не знаю, насколько убедительно, но поддержала.

– Сегодня вечером поддержим ее оба. Мы ужинаем не в ресторане, а у капитана. По его специальному приглашению. Обязательно похвастай этим перед Сахаровым. Не специально, а к слову, без нажима. Ну а в разговоре обрати внимание на левый мизинец Сахарова.

– Ноготь обкусан? – улыбается Галка. – Тоже мне сыщик. Я это давно заметила: он кусает его, когда задумывается. Или просто проводит кончиком языка, когда кусать уже нечего. Скверная привычка, но едва ли веское доказательство.

– Даже не доказательство, а штришок. Еще один штришок к портрету Волошин-Гетцке. Ну а на пляже ты уточни еще

один. Когда он заплывет подальше от берега и вы останетесь с Тamarой вдвоем, заговори о картах. Найди повод. Скажем, преферанс, покер, смотря на что клюнет. Упомяни и о пасьянсах. Обязательно о пасьянсах.

– Терпеть не могу пасьянсов. Что-то вроде козла, только без стука и в одиночку.

– Ну а по роли пасьянсы – твое любимое развлечение. Узнай, любит ли она их, если любит, обещай научить ее пасьянсу какого-то немецкого короля или Бисмарка. Старик пробавлялся ими в часы досуга.

Галка настораживается.

– Зачем тебе это?

– Проверить одесскую информацию.

– Есть что-нибудь интересное?

– Мало. Перерыли все архивы – и ничего. Ни досье, ни фото, ни приказов, ни докладов, даже подписи нет. А образец почерка, сама знаешь, одна из вернейших «особых примет». Можно изменить биографию, даже внешность, только не почерк: специалисты-графологи всегда найдут общность, как его ни меняй. И если почерк настоящего Сахарова – это почерк бывшего Пауля Гетцке, значит, на руках у меня по меньшей мере козырной туз.

– Может быть, жива его мать?

– Жива и живет в том же доме. Но он никогда не писал ей. Ни одного письма, даже поздравительной открытки.

– А если потревожить его немецкую мачеху? Возможно,

она тоже жива.

– Где? В Мюнхене? Попытаться, конечно, можно, но исход сомнителен. Есть другой вариант. По словам Волошиной, у Пауля в Берлине была невеста, некая Герта Циммер. Немцам свойственна сентиментальность, и возможно, что Герта Циммер, если она жива и живет в Берлине – пусть в Западном, найдем, – все еще хранит заветное письмо или фотокарточку с трогательной надписью любимого, разлученного с нею навеки.

– Зыбко все это, – вздыхает Галка.

– Не мог он предусмотреть всего. Где-нибудь да просчитался, какой-нибудь след да оставил. Хоть кончик ниточки. А мы ее вытянем.

С этой зыбкой надеждой я и остаюсь на опустевшем теплоходе. Бассейн спущен. Без воды он неприветлив и некрасив. Снова возвращаюсь в каюту в ожидании вызова из Москвы. Но Москва молчит. Неужели Корецкий ничего не узнал? Не может быть. Что-то уже наверняка есть – накапливает, скряга, информацию. Уже час прошел – Сахаровы вот-вот вернутся. И, вспомнив к случаю о Магомете и горе, решительно поднимаюсь в радиорубку. Снова связываюсь по радиотелефону с Москвой.

– Почему не выходишь на связь? – говорю я недовольно замещающему меня Корецкому.

Корецкого я знал еще сиротой мальчуганом, подобранным наступавшей воинской частью, с которой ушел и я по-

сле освобождения Одессы. Ныне он майор с высшим юридическим образованием, непосредственно мне подчиненный.

Он сдержан и чуть-чуть суховат.

– Торопитесь, товарищ полковник.

– Меня, между прочим, зовут Александр Романович. А тороплюсь не я – время торопит. Есть что-нибудь?

– Прежде всего был у генерала. Доложил все подробно. Он заинтересован, да и знает вашу интуицию. Короче, есть «добро». И по делу кое-что есть...

– Давай кое-что.

– Сахаров живет в Москве с сорок шестого. Окончил Плехановский в пятидесятом. Работал экономистом в разных торгах, сейчас в комиссии на Арбате, соблазнился, должно быть, приватными доходами, которые учесть трудно. Женат с пятьдесят девятого, до этого жил холостяком, обедал по ресторанам, вечеринки, гости, девушки, но сохранил, в общем, репутацию солидного, сдержанного человека. Жена – косметичка по специальности, практикует дома. Детей нет.

– Все это преамбула, мне знакомая. Дальше.

– Не судился и под следствием не был. Служебные характеристики безупречны. Образ жизни замкнутый, хотя профессия его и жены предполагает обширный круг знакомых. Но ни с кем из них Сахаровы не поддерживают близких отношений. Это точно. Даже телефон у них звонит крайне редко.

– Откуда это известно?

– От соседей. Телефон у Сахаровых в передней. Стенка тонкая. Каждый звонок слышен.

– Беллетристика. Давай факты.

– Есть одна странность. Он побывал в двух лагерях для перемещенных. Мотивировка правдоподобная. Один разукрупнялся, в другой перевели. Перебросили партию, не подбирая близких ему дружков. В результате в группе одновременно с ним проходивших проверку не оказалось ни одного, кто бы хорошо знал его: пробыли вместе не более месяца. Но гитлеровский концлагерь, где он отбывал заключение, Сахаров назвал точно, перечислил все лагерное начальство и даже часть заключенных, находившихся вместе в одном бараке. Проверили – все совпало, только товарищей по заключению не нашли. Назвал Сахаров и часть, где воевал, имена и фамилии командира и политрука, точно описал места, где попали в окружение, и даже упомянул солдат, вместе с ним отстреливавшихся до последнего патрона. И еще странность: в списках части, вернее, остатков ее, вышедших из окружения, нашли его имя, и документы нашли, и фотокарточка подтвердила сходство, а вот свидетелей, лично знавших его, не обнаружилось: кто убит, кто в плену, кто без вести пропал, не оставив следа на земле. Много таких было, как Сахаров, вот и ограничились тем, что нашли и узнали. Ну, протемпелевали и отпустили домой в Апрелевку, в сорока километрах от Москвы.

– Ты говоришь, фотокарточка. Где она, эта карточка?

– В протоколах упоминается, а в деле нет.

– А что есть?

– Фотоснимки Сахарова и образцы его почерка в анкетах и служебных документах только послевоенные. Ни одного довоенного документа мы, к сожалению, не нашли.

– А у родственников? Есть у него какие-нибудь родственники? – спрашиваю я уже без всякой надежды.

И получаю в ответ настолько неожиданное, что каменею, едва не уронив трубку.

– Представьте себе, есть, полковник. Мать.

– Жива? – Голос у меня срывается на шепот.

– Живет в Апрелевке под Москвой, – отчеканивает Корецкий с многозначительной, слишком многозначительной интонацией.

Я молчу. Молча ждет и Корецкий.

Живая мать, признавшая сына после возвращения его из армии. Это, как говорят на ринге, нокаут. Все здание моих предположений, догадок и примет рассыпается, как детский домик из кубиков. А может быть, она слепа, близорука, психически ненормальна?

Слабая надежда...

– Говорили с ней?

– Говорили.

– Кто?

– Лейтенант Ермоленко. Он и сейчас в Апрелевке. Получил полную, хотя и неутешительную, информацию.

– Подробнее.

– Мать Сахарова зовут как в пьесах Островского – Анфиса Егоровна. Год рождения тысяча девятисотый. По словам Ермоленко, крепкая и легкая на подъем старуха. Муж умер в тридцатых годах от заражения крови. И до войны и в войну работала учительницей младших классов в апрелевской средней школе, в пятьдесят шестом ушла на пенсию, как она говорит, хозяйство восстановить – дом, огород, ягодник. Денег у нее много. Пенсия, клубникой приторговывает, да сын помогает. Средства у него, мол, неограниченные.

Неограниченные. Раз. Есть зацепка. К вопросу о средствах еще вернемся.

– Легко ли узнала сына после его возвращения?

– Говорит, что сразу, несмотря на бороду. Тот же рост, тот же голос и шрамик, памятный с детства. Внимательный, говорит, сынок, памятный. Все, мол, вспомнил, даже ее материнские наставления и горести.

– Всегда был таким?

– Ермоленко ее подлинные слова записал. Неслух неслухом был, говорит, дитя малое, ребенок, но с годами к матери добрее стал. А в войну возмужал, горя да страху натерпелся, вот и понял, что ближе матери человека нет. Тут Ермоленко и спроси: в чем же эта близость выражается, часто ли они видятся, навещает ли он ее, один или с женой, а может, она сама к ним ездит? Старуха замялась. Ермоленко подчеркивает точно, что замялась, смутилась даже. Оказывается, они

почти и не видятся. Наезжает, говорит, а как часто – мнется. Некогда, мол, ему, большой человек, занятой. А она сама в Москву не ездит – старость да хвори. Была один раз – заметьте, Александр Романович, всего один раз за годы его семейной жизни, – с женой познакомилась, а говорить о ней не хочет: подходящая, мол, жена, интеллигентная. И сразу разговор оборвала, словно спохватилась, что много сказала. Хороший, мол, сын, ласковый, хоть и не навещает, а письма и деньги шлет аккуратнo. Вот вам и близость, которая зиждется только на взносах в материнскую кассу.

– А велики ли взносы?

– От прямого ответа уклонилась: не обижает, батюшка, не жалуюсь. По мнению Ермоленко, старуха двулична, и я, пожалуй, с этим согласен. Язык нарочито простоватый – этакая деревенская кумушка, – а ведь по профессии учительница с хорошим знанием русского языка. Не та речевая манера. А зачем? Чтобы вернее с толку сбить? Ну, сыновние взносы-то мы проверили. Раза четыре в год она получает почтовыми переводами по пятьсот-шестьсот рублей. А когда Сахаров сам приезжает – не часто, раз в три-два года, – материнская касса опять пополняется. Уже натурой. Вот показанья соседки, портнихи из местного ателье. Зачитать? Не загружаем коммуникации?

– Зачитывай. Пока не гонят.

– «Когда сын в гостях, двери всегда на запоре, даже окна зашторивают. Сын гостит недолго – час, а то и меньше – и

тут же отбывает на машине, у него собственная, сам правит. А потом Анфиса хвастается обновами: то пальто демисезонное с норкой, то шуба меховая, то трикотаж импортный. Опять, говорит, прибархлались, спасибо сыночку – уважает». А не кажется ли вам, Александр Романович, что уважение это больше на подкуп смахивает?

– С каких пор он высылает ей деньги?

– С первых же дней, как обосновался в Москве, с сорок шестого.

– Даже в студенческие годы, когда жил на стипендию?

– Сахарова говорит, что он и тогда хорошо подрабатывал. Переводами с немецкого для научных журналов. Язык, мол, он в плену выучил.

Выучил. Что может выучить узник гитлеровского концлагеря, кроме приказов и ругани охранников и капо?

– Мы проверяем бухгалтерские архивы соответствующих издательств, – говорит Корецкий. – Гонораров за переводы Сахарова пока не обнаружено.

Еще зацепка.

Я вспоминаю реплику Корецкого о том, что Сахаров иногда пишет матери.

– Она сама читает письма?

– Сама.

– И почерк не показался ей изменившимся?

– Он выстукивает письма на машинке, чтобы ей, мол, было легче читать.

Интересно, зачем оценщику комиссионного магазина так уж необходима пишущая машинка? Неужели только для того, чтобы облегчить чтение писем старушке матери? Непохоже на Пауля, даже в его новой роли. Вероятнее другое: его корреспонденция шире, и среди его адресатов есть лица, кому не следует писать от руки.

– Ермоленко интересовался, – продолжает Корецкий, – не сохранились ли у нее ученические тетради сына, его довоенные письма, поздравительные открытки или документы, лично им написанные. Оказывается, все погибло в конце войны в их сгоревшем от пожара деревянном домике. Самому Сахарову едва удалось спастись, настолько внезапным и сильным был вспыхнувший в доме пожар.

– Причины пожара?

– Она не знает. Решили, что поджег спяну случайный прохожий, бросивший окурок на крыльцо, где стояла неубранная корзина с мусором, – забора тогда у дома не было.

Я думаю. Могла ли гитлеровская разведка вовремя позаботиться об уничтожении всех следов, связывающих Сахарова с его прошлым? Могла, конечно. И старуху, возможно, ожидала та же участь, что и ученические тетради ее сына. И только безоговорочное признание его сыном, пожалуй, и сохранило ей жизнь, да еще и создало сверхнадежное прикрытие преступнику. А было ли оно честным, это признание, уже не установишь. Минимум сорок тысяч рублей в нынешнем исчислении, полученных за двадцать пять лет от «сына»,

плюс подарки, общая стоимость которых, вероятно, также исчисляется в тысячах, прочно и глубоко похоронили все ее сомнения, даже если они и были.

– А как отнеслась она к расспросам Ермоленко? Насторожит старуху – насторожится и Сахаров. Что ей стоит предупредить его?

– Любую телеграмму можно прочитать на теплоходе. У вас же в радиорубке. А я думаю, что никакой телеграммы не будет. Схитрил Ермоленко. Представился ей как журналист, собирающий материал для очерков о мужестве советских военнопленных в годы Великой Отечественной войны, в частности о тех, кто остался в живых после гитлеровской лагерной мясорубки. Старуха клюнула наживку не задумываясь.

– Что же сейчас задерживает Ермоленко? – спрашиваю я.

– Надеется разыскать друзей детства Сахарова или тех, кто знал его до войны и, может быть, видел после возвращения.

– Когда же он появится?

– Видимо, завтра. Так условились.

– Ну а теперь условимся мы. Нужны подробности первой встречи Сахарова с матерью. Может быть, есть свидетели, кто-либо присутствовал, заметил что-нибудь – ну, удивление или недоверие: с трудом узнала, скажем. Ее рассказ Ермоленко уже обусловлен сложившимися отношениями Сахаровой и ее псевдосына. Интересны же ее первые рассказы о встрече – наверное, говорила кому-нибудь: ведь в ее окру-

жении это сенсация. И еще. Проведем другую касательную к биографии Сахарова. Свяжись с берлинской госбезопасностью и попроси о помощи. Хорошо бы узнать: жива ли и где находится бывшая невеста гауптштурмфюрера Пауля Гетцке, некая Герта Циммер, дочь известного виноторговца, и в случае ее досягаемости – не сохранились ли у нее какие-либо письма или фотокарточки с автографом Гетцке. Если да – пусть окажут любезность: переснимут и вышлют.

– Попробую, – соглашается Корецкий.

– Действуй, – напутствую я его и выключаю связь.

Теплоход стоит у сочинского причала. В коридорах, салонах и барах ни души – все в городе. Только у бассейна на шлюпочной палубе суетится молодежь: его снова наполнили, и девушки в купальниках, подсвеченные снизу, кажутся пестрыми экзотическими рыбами в зеленоватой цистерне аквариума. Здесь мне делать нечего – стар. Может быть, стар и для молчаливого поединка, который начал с надеждой выиграть без осечки. Смогу ли? Настораживает не только железобетон легенды, но и личность ею прикрытого. Пауль Гетцке не просто военный преступник, скрывшийся в тихом омуте заурядной московской комиссионки. Залег сом на дно под корягу и не подает признаков жизни. Нет! Не зря же его дублировали во встрече со смертью в оккупированной Одессе, и не зря он дублировал незаметно исчезнувшего в германском концлагере Сахарова. Как это было сделано, выяснится впоследствии, а зачем, ясно и сейчас.

Пока же сом лежит под корягой.

Я рассказываю Галке

С пляжа Галка возвращается одна – Сахаровы остались обедать в городе.

– А потом снова на пляж. У нее даже шкура задубела на солнце, а он из воды не вылезает. Мы с Тамарой три часа провалялись на пляже, пока он плавал.

– За буйки?

– Конечно. Марафонский заплыв на полдня. И знаешь что? Мне все кажется, что он не просто плавает, не из удовольствия...

Галка колеблется, не решаясь высказаться определеннее.

– Тренируется? – подсказываю я.

– Вот именно. Ты не боишься, что он сбежит, скажем, в Батуми? Граница рядом.

– Не сбежит. Во-первых, это не просто граница, это наша граница. Даже с аквалангом не проскользнешь. А во-вторых, он слишком уверен в своей безопасности. – При желании он мог бы остаться за пределами нашей страны в одной из своих туристских поездок. Ведь у него наверняка были такие поездки?

– Тамара говорит, что были. Кажется, в Чехословакию ездили или в Швецию. Куда-то еще.

– В Чехословакию он ездил, возможно, только для связи

с кем-нибудь, кто одновременно туда приезжал с Запада. А в Швеции вполне мог остаться. Но не остался, как видишь.

– Тогда не возникала опасность разоблачения.

Галка, наверно, права. Опасность разоблачения возникла. Он, безусловно, узнал и меня и Галку еще на морском вокзале в Одессе. Поверил ли он в мой юридический камуфляж? Вероятно, нет. Члена коллегии защитников я сыграл наудачу с апломбом, но, как говорится, по касательной, неглубоко и неубедительно. Близость Галки к криминалистике, должно быть, насторожила.

Я пробую представить себя на его месте.

Первая реакция, понятно, настороженность. Гриднев и Галка, конечно, узнали его, но скрывают, делают вид, что поверили в гедониста из комиссионного магазина, любителя вкусно и сытно жить. А если игра, то зачем? Сомневаются, не убеждены, растеряны, или же, замаскировавшись, решительно начали, как у них говорят, разоблачение военного преступника? Любительски неумело или опираясь на специальную выучку профессионалов? Вероятнее первое. Сначала присмотреться, прислушаться, разглядеть получше, проверить поточнее, а потом уже действовать, на ходу передоверяя розыск специалистам этого дела. А куда пойдут специалисты? В архивы, искать следы Пауля Гетцке – будем считаться с их терминологией, – казнен по приговору одесского подполья, а довоенный Сахаров почему-то не оставил следов. Ни школьных тетрадок, ни дневников, ни писем. Документация

Наро-Фоминского райвоенкомата, где призывался Сахаров, утрачена в годы войны, архивы гитлеровских концлагерей уничтожены в панике германского отступления, документированная биография Сахарова начинается с возвращения из плена. Чистенькая биография, без пятнышка, подкрепленная неопровержимым свидетельством матери, радостно встретившей своего без вести пропавшего сына.

И уймутся сыщики, как бы ни божился Гриднев, что я – Гетцке, а не Сахаров.

Так предположительно может рассуждать Сахаров, судя по его поведению на борту «Котляревского». А заплывы? Почему же не поплавать, если умеешь.

– Между прочим, все сходится, даже пасьянсы. Только не Тамара – он сам их раскладывает. Страстишка. О пасьянсе Бисмарка поэтому пришлось умолчать.

Тон у Галки бодрый, с такой самоуверенностью удачливого рыбака, твердо рассчитывающего на то, что рыба от него не уйдет. Охладим.

– Пасьянсы, Галочка, на весах Фемиды как доказательство идентичности Сахаров-Гетцке весят не больше, чем его манера закуривать, купаться и грызть ногти. А на его чаше весов – гиря. Весомая. Короче говоря, в Апрелевке, под Москвой, живет родная мать Сахарова.

Галка недоумевает.

– Почему в Апрелевке? Ты же сказал – в Одессе.

– В Одессе живет Волошина, а в Апрелевке – Сахарова.

Галка пугается.

– Мать настоящего?

– Мать настоящего.

– Неужели же она поверила и признала этого?

– Увы.

– Значит, мы ошиблись.

У Галки бледность сквозь загар матово-серая. Я рассказываю Галке о послевоенной биографии Сахарова, не скрывая своих сомнений. Ошиблись? Не убежден. Конечно, признание матери – беспроектный вариант, но...

– Что меня смущает, Галчонок? Личность матери. Какая мать – не пенсионерка, не инвалид, а работающая, с вполне приличным заработком, согласится получать от сына-студента, не имеющего ни специальности, ни штатной работы, нынешних двести, а тогда по две тысячи рублей ежемесячно? Говорит, что сын хорошо подрабатывал переводами с немецкого языка. Оставим «язык» и вникнем в «переводы». Можно ли было зарабатывать в конце сороковых – в начале пятидесятых годов, не будучи специалистом-переводчиком, случайными переводами не менее трех тысяч в месяц? Две ведь он посылал матери, а самому что-то нужно было: квартира, питание, транспорт, кино, девушки – не монахом жил. И, посудите, какая мать, даже простая полуграмотная женщина, не заподозрила бы чего-то нечистого в происхождении таких денег у рядового студента? А эта – учительница, интеллигентка – даже не задумалась и, хотя учителей в под-

московных школах совсем не избыток, тотчас же ушла на пенсию, как только закон позволил. Чтобы ничто не мешало клубничку возделывать да на рынок сплавлять. И как легко она, без огорчения, без обиды, отказалась от личных встреч, согласилась на подмену их реденькой даже не перепиской, а просто отпиской на пишущей машинке.

Галка безжалостно подытоживает мои экскурсии в психику Сахарова.

Я не прерываю, жду.

– Может быть, вызвать Волошину из Одессы? – вдруг спрашивает она, – Настоящая мать против псевдоматери.

– Волошиной сейчас дороже всего собственное спокойствие. Сына она фактически потеряла еще до войны, во время войны не вернула его, мысленно похоронила после взрыва партизанской гранаты и воскрешать сейчас едва ли захочет. Тем более для скамьи подсудимых.

– Откажется от признания?

– Убежден.

– А Сахарова так просто не откажется.

– Просто – да. А если усложнить? Если доказать опасность избранной ею позиции, убедить, что Сахаров-Гетцке все равно будет разоблачен?

В ответе я не нуждался: на лице Галки было написано все, что она думает. Фактор времени! Разоблачить Волошина-Гетцке необходимо до его возвращения в Москву, иначе он оборвет все связи и затаится. Еще раньше поэтому должен

состояться решающий разговор с матерью Сахарова – ведь Гетцке может предупредить ее письменно или по телеграфу. До нынешнего дня он этого не сделал: из Одессы не мог, в Ялте я не отходил от него ни на шаг, а телеграфировать с теплохода не отважится, понимая, что это будет прямой уликой. Значит, телеграмму он мог послать только из Сочи сегодня, после того как избавился от наблюдения Галки, вернувшейся на теплоход. Личного телефона у матери Сахарова в Апрелевке нет, поэтому междугородная телефонная связь исключается, но Гетцке мог позвонить и кому-либо из своих агентов, поручив ему предупредить или обезвредить Сахарову.

– Обедай одна, Галина. Я иду в город, – говорю я.

Галка ни о чем не спрашивает: все поняла. Только подсказывает:

– Смотри не столкнись. Сегодня они обедают, наверное, где-нибудь поблизости от пляжа. Я думаю – успеешь.

И я успел.

К сожалению, старого друга моего, Николая Петровича, в управлении не оказалось: отдыхал где-то у себя на Полтавщине. Однако Корецкий времени не терял: о расследовании здесь знали, из Москвы шифрограмма пришла, и вежливый и решительный майор обещал сделать все, что требовалось: получить разрешение прокурора на арест местной корреспонденции Сахарова, задержать письма и телеграммы, отправленные им в подмосковный поселок Апрелевку,

а также проследить все его телеграфные и телефонные переговоры с Москвой, имеющие хотя бы косвенное отношение к интересующей нас ситуации.

Всю информацию я должен был получить завтра утром на теплоходе после его прибытия в Сухуми.

Тут же я связался с Москвой и Сухуми. В Сухуми потребовал задержать до проверки всю телеграфную корреспонденцию, адресованную Сахарову до востребования, а в Москве снова вызвал Корецкого.

– Что случилось? – удивился тот.

– Проследите за Сахаровой. Ее могут предупредить или даже устранить – не исключена и такая возможность. Не прозевайте. Проконтролируй всю ее переписку, в особенности телеграммы на ее имя, которые могут прийти в эти дни. Вообще с ней требуется разговор по душам, откровенный и бесхитростный, – не сомневаюсь, что поймет. Только с таким разговором придется подождать – нет еще у нас данных для этого разговора.

– Между прочим, звонил Ермоленко.

– Есть новости?

– Нашел кончик ниточки к однополчанину Сахарова. Подробности завтра к вечеру.

– Только учти: у нас в запасе четыре дня. А точнее, даже три. В воскресенье с трапа «Котляревского» на одесский причал должен сойти уже Пауль Гетцке, а не Михаил Сахаров. И сойти с полагающимся эскортом. Вот так.

На теплоход возвращаюсь раньше Сахаровых. Отлично. Не придется подыскивать объяснения своей внеплановой экскурсии в город.

Сухуми

«Пошел купаться Веверлей»

Я просыпаюсь рано, часов в шесть или в семь, не знаю точно, – наручные часы на столе, и очень уж не хочется к ним тянуться. Сквозь зашторенные окна просвечивает мутное, дождливое небо с сизым оттенком воедино смешавшихся моря и туч. Галка спит, уткнувшись носом в подушку.

До завтрака можно еще часок полежать, подумать. Длинный вчерашний вечер, а информации – кот наплакал. Сахаровых до ужина мы видели; что они делали в городе, не знали, а у капитана, естественно, ничего обсуждать не могли. И только тогда уже, когда все было съедено и выпито и закурили мы с капитаном по настоящей гаванской сигаре, он как бы мимоходом напомнил мне о том, что на время ужина спряталось у меня в подсознании.

– А я вашего бородача знаю, – неожиданно сказал он.

– Вы его за нашим столиком видели?

– Нет, с мостика. На шлюпочной палубе. Вы рядом стояли.

– А откуда же вы его знаете?

– Прошлой зимой был в Ленинграде. Обедал в «Астории», дня три-четыре подряд. Так он в компании немцев тоже там обедал. Столы рядом. Я его и запомнил – очень уж колорит-

ная внешность.

– Вы сказали: в компании немцев?

– Да, туристов из ГДР. Он сидел с ними. И говорил как немцы. Я немецкий знаю.

– Вы не ошиблись? Может быть, случайное сходство?

– Нет, не ошибся. На зрительную память не жалеюсь.

«Выяснить, был ли Сахаров прошлой зимой в Ленинграде», – мысленно отметил я и тут же подумал: а что, если он не подтвердит этого? Тратить время на запросы и розыск? И что это даст? Захотелось поболтать на языке, который он считал родным в годы своего гестаповского бытия. Ничем он при этом не рисковал и ничего не боялся: мало ли о чем можно разговаривать за ресторанным обедом. Кстати, я тут же поинтересовался, не слышал ли капитан, о чем они разговаривали.

– По-моему, они интересовались антиквариатом.

Что ж, это вполне согласуется с новой ролью Пауля Гетцке, в которой он, по-видимому, весьма преуспел. Я сказал об этом Галке, когда возвращались от капитана, и она со мной согласилась. Встречи Сахарова, если они и планировались, происходили едва ли в столь многочисленной и шумной компании. Но одно было для меня несомненно: подлинный Сахаров, вырвавшийся живым из концлагеря, едва ли стал бы искать встречи с немцами только для того, чтобы поговорить на их родном языке.

И мне вдруг ужасно захотелось сказать ему, Сахаро-

ву-Гетцке, о том, что капитан запомнил и узнал его. Интересно, подумал я, сумеет ли он не вздрогнуть, не смутиться, сохранить свое каменное спокойствие и, должно быть, многократно отрепетированную, равнодушную усмешечку? Случай тотчас же представился. У лифта мы лицом к лицу столкнулись с Сахаровыми, подымавшимися с палубы салонов из кинозала. Я мгновенно сыграл слегка захмелевшего человека, шумно обрадовался и обнял обоих вместе, как старый друг. Сахаров осторожно отстранился, а Тамара спросила:

– Роскошный был ужин?

– Мировой. А какой ром! Жидкое золото!

– Красиво изъясняетесь, – поморщился Сахаров. – Предпочитаю всяким ромам хороший армянский коньяк.

– Коньяк тоже был, – продолжал я, умышленно не замечая его насмешливой снисходительности, – а капитан вас знает, между прочим.

Сахаров не вздрогнул, даже не моргнул, только чуть-чуть насторожился.

– Странно, – сказал он, – я даже его в лицо не знаю. Никогда не встречались.

– Встречались. Вместе обедали зимой в ленинградской «Астории».

– Я не обедал зимой в ленинградской «Астории», – отрезал Сахаров. – Капитан ошибся. Мало ли бородатых людей на свете. Со мной часто кланяются незнакомые люди. Я от-

вечаю из вежливости.

Тема ленинградского обеда была исчерпана, развивать ее не имело смысла, и мы разошлись по каютам. Но я все-таки попал в цель: Сахаров уклонился от объяснений, предпочел умолчать о пустяковом, но, видимо, существенном для него событии.

– Не спишь? – спрашивает Галка, подымая с подушки голову.

– Не сплю.

– В Сухуми не выйдешь. Дрянь погода.

– Дрянь.

– Ты что так односложен? Все о вчерашнем думаешь?

– Думаю.

– И зря. Ерунда все это.

– То, что он скрыл свои контакты с немцами?

– А что подтверждает эти контакты? Свидетельство капитана? Но он действительно мог ошибиться: бородатых людей на свете вполне достаточно для такой ошибки. И вообще ты только на меня не сердись, Сашка, но дело, как говорится, швах.

– Чье дело?

– Твое. Наше с тобой. Никаких фактических доказательств того, что он Гетцке, а не Сахаров, у тебя нет. На психологических штришках обвинения не выстроишь. Тем более когда у него такой непробиваемый щит.

– Мать?

– Да. Я не верю в ее признания, Гриднев. Она не сознается.

– Мы постараемся доказать ей опасность такой позиции.

– На все твои доказательства она будет твердить одно: я мать. Кто лучше матери знает своего сына? Это мой сын – и все. Попробуй опровергни.

– А если доказательства будут неопровержимы?

– А у тебя есть эти доказательства?

– Пока нет.

– Вот я и говорю, что швах дело.

– Я не столь пессимистичен. К тому же у нас в запасе еще три дня. Кое-что выяснится сегодня в Сухуми.

– Пойдешь в город?

– Конечно.

– В такой ливень?

– Подумаешь, ливень. У меня плащ есть.

– Как ты объяснишь Сахаровым свое путешествие? Никто же не сойдет с теплохода.

– Никак не объясню. Дела. И пора уже открывать карты. Пусть настораживается.

В ресторане за утренним завтраком разговор только о дожде. Животрепещущая, волнующая всех тема. Подошли к сухумскому причалу сквозь толщу низвергающейся с неба воды. В город выходить нельзя.

Сахаровым я ничего не объясняю – объяснит Галка, когда я уже буду на берегу. А пока лениво тянем жвачку раз-

говора, никого и ни к чему не обязывающего, как вдруг Сахаров проявляет неожиданный интерес к профессии Галки. Она охотно посвящает его в детали своих криминалистических экспертиз.

– Интересная у вас профессия, – говорит он, – не то что у вашего мужа.

– Почему? – возражает Галка. – У Сашки тоже интересные дела попадают.

– У адвокатов по нынешним временам не может быть особенно интересных дел. Интересные дела только у следователей с Дзержинской или Петровки, тридцать восемь.

Я бы не спрашивал Гетцке о том, что он считает особенно интересным делом, но мне любопытно, что скажет об этом представитель торговой сети.

Он отвечал охотно:

– Я где-то читал, что не может быть создано ни детективного романа, ни детективного фильма, скажем, о краже зонтика. Преступление должно быть масштабным, чтобы заинтересовать публику.

– Мне, как адвокату, известны только дела о разводах и разделе имущества. Крупными их, пожалуй, не назовешь, но интересные были.

– Расскажите, – просит Тамара.

– Как-нибудь в другой раз, – вежливо улыбаюсь я и встаю. – В город не собираетесь? Не надумали?

– С ума сошли! Он же на весь день – типичный сухумский

ливень. А мы думали в обезьяньем питомнике побывать – так разве тронешься! Хоть к причалу автобусы подавай – никто не поедет. – Тамара явно расстроена. – Даже в бассейн идти не хочется – солнца нет. Буду вязать что-нибудь, как примерная домохозяйка, или пасьянсы с Мишей раскладывать.

– А вы, оказывается, любитель пасьянсов? – стараясь не быть ироничным, говорю Сахарову. Но Сахаров не реагирует, сам спрашивает:

– В шахматы играете? Хотите партию?

Я с сожалением отказываюсь:

– Не сейчас. Может быть, после обеда или вечером в курительной. Я тут кое-какой материал из Москвы захватил – просмотреть надо. У меня ведь и сухумские клиенты есть, – загадочно говорю я и, не давая возможности Сахарову сделать ответный выпад, ретируюсь в свой коридор полулюксов.

В каюте мы с Галкой устраиваемся на диванчике у окна и молчим. В дождливом мареве сухумский порт выглядит прибалтийским, утратив все обаяние кавказской Ниццы. И пальмы, и портовые краны одинаково серы. Людей не видно. Лишь кое-где пробегают по асфальтовым пирсам портовики в длинных дождевиках с капюшонами.

– Сейчас пойдешь или подождешь, когда дождь кончится? – спрашивает Галка.

Дождя я не боюсь, а подождать подожду. Может, Одеса или Москва вызовут в рубку. Да и Корецкому надо еще

подытожить собранные вчера материалы. Часок посижу, подумаю.

– Думай не думай, а его не поймешь, – вздыхает Галка. – Ну с какой стати он о преступлениях заговорил? Зачем?

– Он то осторожничает, то рискует, мы хладнокровно и расчетливо накапливаем шансы. Я почти догадываюсь, зачем он пригласил меня играть в шахматы.

– Зачем?

– Скажу после партии. Хочу проверить свою версию.

– О чем?

– О терпении. Сколько можно безмолвно ждать?

– Темно что-то.

– Подожди вечера – осветлю.

Час проходит, а дождь не кончается и Москва молчит. Вздохнув, преображаюсь в морского волка во время шторма – только капюшон от дождя заменен выдавшей виды кепкой – и резюмирую:

– «Пошел купаться Веверлей, осталась дома Доротея». Придумай какое-либо объяснение, Доротея, если спросят о моем внезапном исчезновении. Не зря же я намекнул о мифических сухумских клиентах.

И я окунаюсь в дождь.

Два просчета Пауля Гетцке

В нашем сухумском отделении меня уже поджидали. Аб-

хазские товарищи оказались радушными и общительными хозяевами.

Черноусый майор Алания действовал с неколебимой решительностью.

– Во-первых, садись, товарищ полковник, и обсохни. Небеса разверзлись – ничего не поделаешь. Насквозь промок, вижу: даже с пиджака капает. Ну а во-вторых, поделись с нами своими заботами. С закрытыми глазами, понимаешь, говорить трудно, а вот ты и приоткрой их, насколько нужным считаешь. Самую суть, конечно.

Я изложил «самую суть» и добавил, что прежде всего хочу познакомиться с сообщением из Сочи, а затем поговорить с Москвой о дальнейшем расследовании. Алания молча выслушал и сказал:

– Извини, товарищ полковник. Есть другое мнение. Сочи и Москва пять – десять минут подождут. А прежде всего надо, я думаю, связаться с Батуми и предупредить пограничников: вдруг сбежит? Они, конечно, и так не пропустят, но три глаза лучше, чем два. У тебя его фотокарточка есть?

Мысленно соглашаясь с майором, извлекаю из бумажника моментальный снимок Сахарова, сделанный во время его игры в волейбол на открытой палубе. Сахаров – гол, бородат и мускулист – снят в прыжке за летящим навстречу мячом.

– Бороду он может сбрить, – говорит Алания, задумчиво рассматривая снимок, – а вот фигуру ни в одном костюме не спрячешь. Снимок тебе не нужен, нет? Отлично. Подожди

две минуты.

Он берет телефонную трубку, говорит несколько слов на родном языке, из которых мне знакомо только одно – Батуми, ждет, нетерпеливо постукивая пальцами по столу, затем оживляется и произносит целую тираду, в которой я уже ни слова не понимаю. Положив трубку, спрашивает:

– Перевести? Перевожу. Со всеми тонкостями художественного перевода. Сигнал ваш принят, товарищ полковник. Пограничники будут предупреждены. Батумские товарищи обо всем позаботятся. Снимок я перешлю им сегодня же по фототелеграфу. Они его размножат, разошлют кому надо, встретят вашего бородача на причале, проводят по городу, засекут все адреса и встречи и доложат вам по прибытии.

– Оперативно работаешь, – говорю я.

Он удовлетворенно улыбается и достает мне из папки на столе телефонограмму из Сочи. Она адресована майору Алания для передачи прибывающему на теплоходе «Иван Котляревский» полковнику Гридневу, то есть мне.

«На морском вокзале Сахаровым сдана телеграмма Сахаровой в Апрелевку. Приводим текст: “Если обо мне будут спрашивать зпт говори как условились зпт в долгу не останусь тчк”. Телеграмма скопирована и отправлена. Корреспонденции до востребования на имя Сахарова в почтовых отделениях Сочи не обнаружено».

Итак, первый документ, свидетельствующий о сомнениях

Гетцке в железобетоне своей легенды. Стоического спокойствия уже нет, он встревожен, даже вынужден приоткрыть сущность своих взаимоотношений с матерью Сахарова. Конечно, телеграмма еще не доказательство камуфляжа, но уже повод к законным вопросам ее автору. О чем тревожится сын, упрасывая мать говорить «как условились»? А это заключительное «в долгу не останусь»! Разве оно не говорит о некой меркантильности отношений сына и матери?

Интересно теперь, что приготовила мне Москва. Вызываю Корецкого. Отвечает без обычной своей суровости, даже с каким-то оттенком радости.

– Наконец-то, Александр Романович! Я уже звонил вам на теплоход. Есть новости.

– Докладывай.

– Сахарову вторично не беспокоили. Но вчера вечером она получила телеграмму.

– Знаю. И текст знаю. Пока ни о чем ее больше не спрашивайте. Еще не время.

– О ниточке Ермоленко. Живет в Апрелевке некий Хлебников Виктор Васильевич, отставной гвардии майор, сейчас на пенсии. Набрел на него Ермоленко в поисках довоенных дружков Сахарова. Но оказалось, что Хлебников даже не был знаком с Сахаровым, хотя и призывался почти в одно время с ним в том же военкомате. Простой номер, правда? Но тут-то и выглянул на свет малюсенький кончик ниточки. Вскоре после демобилизации Хлебникова заехал к нему его одно-

полчанин Бугров; как мы установили, было это за несколько месяцев до появления в Апрелевке Сахарова. С Хлебниковым Бугров прошел в одном, как говорится, строю до сорок второго года, пока, тяжело раненный, не смог выйти из окружения. Очутился в плену, долго болел, чуть не погиб в лагере для военнопленных, потом с группой товарищей удалось ему бежать. Случилось это в горах Словакии; беглецов спасли партизаны, вместе с которыми они и сражались до воссоединения с наступавшими советскими войсками. «Много интересного рассказал Бугров, – вспоминает Хлебников (это я уже справку Ермоленко читаю), – а потом вдруг спросил: “А ты здешнюю учительницу Сахарову, случайно, не знаешь?” – “Не знаю, – говорю, – а тебе зачем?” – “С сыном ее я в плену был, погиб он геройски, вот я и заехал сюда рассказать ей об этом, да не застал – где-то на курорте лечится. Может, ты ее повидаетшь и передашь?” – “Уволь, – говорю, – тяжело с такой вестью к старухе идти, да и нужно ли? Ждет, наверно, сына живым, глаз не смыкает, а мы ее топором – погиб, мол, и точка. А что геройски или не геройски, матери одна беда: о сыне плакать”. Бугров подумал и согласился: “Может быть, – говорит, – ты и прав, пожалуй, лучше рану не беречь”. Ну и уехал. А уже после отъезда его я узнал случайно, что сын учительницы Сахаровой живой вернулся, значит, ошибся Бугров, а как бы мы теперь в глаза ей смотрели!» Ермоленко сразу понял: ниточка! Опять сказал, собирает материал о подвигах советских военнопленных в годы Великой

Отечественной войны и адрес Бугрова узнал. Сегодня с утра мы проверили. Есть такой в Тобольске: Бугров Иван Тимофеевич, старший механик авторемонтной базы. Ермоленко час назад уже туда вылетел. Свяжется со мной вечером.

Я на мгновение окаменел, оцепенел, остекленел – слов у меня нет, чтобы выразить то состояние, в которое меня повергло сообщение Корецкого. Если Ермоленко точно записал рассказ Хлебникова, а в художественных вольностях Ермоленко уж никак не обвинишь, то слова Бугрова определенно звучат как свидетельство очевидца. Не бывает бесследных преступлений, говорил мой учитель полковник Новиков; какие хитрости ни придумывай, какую методику камуфляжа ни применяй, след всегда останется – только сумей найти. Теперь даже твое дыхание уловят, даже запах твой в пробирку соберут, даже крохотный волосок твой, выпавший, когда ты машинально прическу поправил, выдаст тебя как миленького. А тут не запах, а человек живой. Очевидец. Как говорят на ринге, нокаутирующий удар. Хук справа.

Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять...

Аут!

Меня возвращает к действительности далекий голос Корецкого:

- Александр Романович, где вы? Линия не в порядке?
- В порядке линия, – говорю. – Задумался.
- Сейчас еще больше задумаетесь, только меня предупре-

дите, – смеется Корецкий, и в смехе этом что-то непохожее на его обычную суховатую сдержанность: должно быть, нечто особенное удалось Корецкому, если он так смеется. – Представьте себе, – говорит, – нашли Герту Циммер. В Берлине. За одни сутки нашли.

– Что?! – кричу я.

– Ту самую. Бывшую невесту бывшего Гетцке. Только она умерла в сорок шестом году от грудной жабы.

– Чему же ты радуешься, Коля? – тихо спрашиваю я.

– Исполнилась все-таки месть Кримгильды.

– Ничего не понимаю. Какой Кримгильды?

– Из «Песни о Нибелунгах». Кажется, там есть такая.

– Брось загадки.

– Есть бросить загадки, – меняет тон Корецкий. – Докладываю, товарищ полковник. Гауптштурмфюрер Пауль фон Гетцке действительно бросил Герту Циммер накануне войны, о чем и уведомил ее кратким письмом, в котором категорически отказался от своих обещаний жениться. Герта Циммер поплакала, спрятала письмо в черную папку с шелковыми тесемочками, в которой уже находились все прочие письма ее жениха, засушенные цветы, даримые им к памятным дням, и тому подобные реликвии неудавшегося романа, и положила папку на вечное хранение в папин сейф. После падения Берлина виноторговец-папа сбежал в западную зону, дочка померла, а в квартире поселилась ее племянница, Минна Холм, которой и досталась в наследство заветная

папка. Так вот, товарищ полковник, Минна Холм и сейчас живет в той же квартире, только папки у нее уже нет.

Я молча жду – очень уж загадочно звучит сообщение Корецкого, а после заключительной реплики так и хочется написать: «Конец первой серии».

Вторая серия начинается тотчас же после многозначительной паузы.

– Нет этой папки, товарищ полковник, а есть рассказ Минны Холм нашему берлинскому коллеге Рудольфу Бергману, стенографически записанный и переданный нам по телеграфу. Сейчас он передо мной.

– По-немецки?

– Нет, уже в переводе. Читать или изложить вкратце? Не загружаем линию?

– Не твоя забота. Читай.

Корецкий откашливается и читает со вкусом, на манер диктора Центрального телевидения:

– «Бергман (*после выяснения анкетных данных собеседницы и прамбулы к появлению папки с реликвиями несостоявшегося замужества*). А почему фрейлейн Циммер не сожгла эти ненужные ей реликвии?»

Холм. Она хотела вернуть их Паулю после его женитьбы на избраннице баронессы. Зачем? Я тоже спрашивала: зачем? Оказывается, она лелеяла мечту напомнить ему обо всем в дни его семейного счастья. Своеобразный метод отмщения обидчику.

Бергман. Просто странный. Гетцке в лучшем случае выбросил бы все это в мусоропровод.

Холм. Я ей то же самое говорила. Но она, как бы вам сказать, была очень несовременна. Словно сошла со страниц романов Марлит начала века. Вы не читали «В доме коммерции советника»? Я тоже не читала до того, как поселилась у тети. Сентиментальная чушь. А это была ее любимая книга. И, уже умирая, она просила меня непременно вернуть все фото и письма Паулю, если я о нем что-то услышу.

Бергман. И вы вернули?

Холм. Не ему лично. От него пришел человек, подтвердивший мне все обстоятельства их вынужденной разлуки с тетей, и попросил вернуть все фото и письма Пауля. Откровенно говоря, я сделала это с удовольствием. И просьбу тети выполнила, и от хранения дряни избавилась. Пришедший, не снимая перчаток, открыл папку, сверил с имевшимся у него списком все письма и фотокарточки и объявил, что одной фотографии не хватает, а именно той, где тетя и Пауль были сняты вместе на Балтийской косе. Куда она завалилась, я не знала, искать не хотелось, и я тут же симпровизировала, сказав, что именно эту карточку тетя сожгла, потому что господин Гетцке был снят вместе с нею. Пришедший молча выслушал мои объяснения и только спросил: “А вы точно это знаете?” – “Еще бы не точно, – говорю, – когда это при мне было”. Ну, он собрал всю эту муру и откланялся. А совсем недавно я нашла эту злополучную карточку под счетами за

квартиру в том же сейфе, где папка лежала, – у нас этот сейф и сейчас вместо комода. Хотела было выбросить, да закладка понадобилась – листала я в то время новый учебник английского языка. Карточка и сейчас в этой книге».

Корецкий опять откашлялся и закончил обычным своим говорком без театральных эффектов:

– Собственно, сейчас эта карточка, или, вернее, ее фотокопия, переданная по телеграфу, лежит у меня на столе рядом со стенограммой. Бравый ээсовец и волоокая Гретхен на песчаной отмели и надпись на обороте: «Божественной Кримгильде от влюбленного Зигфрида. Май 1940 года». Я знаю, о чем вам не терпится сейчас спросить. Сверял ли я почерк герра фон Гетцке образца сорокового года с почерком гражданина Сахарова семидесятых годов?

Я молчу. Спросить не решаюсь. Страшно.

– Не дышите в трубку, Александр Романович. Сверял. Может, и похоже: точно утверждать не могу. Один текст по-немецки, к тому же готическим шрифтом, другой – по-русски, да еще с дистанцией в тридцать лет с лишним. Отправил на графическую экспертизу.

– Когда ответ?

– Обещают завтра утром.

– Звони на теплоход, а если не застанешь, сам позвоню из Батуми. Спасибо, Коля, за все. За оперативность, за точность, за удачу.

Я благодарю, что называется, от души. На работе в Москве

я сдержанней и строже даже с Колей Корецким, которому уже давно за сорок, но которого по-прежнему зову Колей. Так не от зазнайства это, честное слово, а от отеческой привязанности к человеку, которого знал еще толстогубым мальчишкой. И не зря я поблагодарил его «за удачу», не ошибся в выборе слова. Ведь удача сама не приходит. Трудом добывать, не одними талантами, выдержкой добывать, смекалкой, умением не прозевать и не повторить ошибок противника. Два раза просчитался наш противник в своей игре: прозевал боевых друзей Сахарова и заветную папку бывшей невесты. А вероятно, и еще просчитался где-то, и не раз, и не два – и нашли бы мы те другие ошибки, если бы не нашли этих. Обязательно бы нашли. А может, и найдем...

С такой убежденностью я и возвращаюсь на теплоход. Дождь давно уже кончился, небо и море повторяют друг друга, как в зеркале, отлакированные дождем пальмы неправдоподобно блестят на солнце, и город просушен насквозь: от гальки в порту до прибрежных нагорий. А в растекающейся по улицам толпе туристов я неожиданно встречаю Сахаровых и Галку. Я даже не успеваю придумать что-нибудь, как верная моя Галина тотчас же приходит на выручку.

– Со щитом иль на щите? – спрашивает она.

– А ты как думаешь?

– Заплатил? – подсказывает она.

Я мгновенно ориентируюсь.

– Сейчас двести, остальные в Москве после рассмотрения

кассации.

– Ну и гонорары у вас! – удивляется Тамара. – Больше профессорских.

– А вы думаете, легко выиграть дело в Верховном Суде Союза, если оно уже проиграно во всех предыдущих инстанциях?

– И вы надеетесь выиграть?

– Надеюсь. Имеются все основания. Появились доказательства по вновь открывшимся обстоятельствам. Ими и воспользуемся.

До сих пор молчавший Сахаров улыбается этакой коварной улыбочкой.

– Я видел с прогулочной палубы, как вы героически уходили в ливень, и спросил вашу супругу: в чем причина сего геройства? И вы знаете, что она мне ответила?

– Пошел купаться Веверлей, – смеется Галка.

– А вы помните, как продолжается песенка? «И – о судьбы тяжелый рок: хотел нырнуть он головою... Но голова тяжелее ног – она осталась под водою», – сказал он.

Не верит. Ну и пусть не верит.

– В моем варианте, – говорю я, – Веверлей не тонет, а уверенно плывет к берегу. Сейчас же он идет обедать в «Абхазию», потому что на теплоходе пообедали без него.

Снимаем маски

Ужинают тоже без меня – я слишком поздно обедал и не хотел есть. Сажу в каюте и машинально черчу пляшущие фигурки. Когда-то Конан Дойль создал тайну шифра из таких фигурок, которую и разгадал его хитроумный герой. А у меня даже нет тайны. Все ясно. Есть уравнение, в котором известен ответ, но которое я не могу пока доказать. Икс – Гетцке равен игреку – Сахарову, а почему? Что скажут зет – Бугров и данные графической экспертизы? Вот доказательства неравенства уже есть. Свидетельство родной матери. «Сынок мой любимый, ласковый, всегда был ласковым, а что бороду отрастил – так ведь мода теперь такая: с усами либо с бородой. И шрамик с детства памятный. Что? Косметический шрамик? Не знаю. Придумываете вы что-то... Исследовали? А кто вам позволил неповинного человека исследовать?»

В самом деле, кто нам позволил? Не можем же мы только подозреваемого, да еще без достаточных юридических оснований, тащить в лабораторию без его желания и воли. Ни один прокурор такого разрешения не даст. Предъявите обвинение, юридически обоснованное, и делайте, что положено по закону. Если мама вмешается, лапки складывай или давай доказательства, маму изобличающие. А чем ее изобличишь? Деньги сын дает? Правильно делает – хороший сын. Вещичками из комиссионки снабжает? Так не украдены ве-

щички, а куплены. Нет, с налету этой теоремы не решишь. Мама вмешивается, как аксиома, доказательства не требующая. Я вспоминаю вежливую и доброжелательную Марию Сергеевну Волошину – настоящую, родную мать – и усмехаюсь.

«Мой сын жив? Вздор. Не может этого быть, если он убит лет тридцать назад. Мертвые не воскресают. Вы говорите, убит другой? Не верится. За тридцать лет он бы дал знать о себе. Зачем же опознание незнакомого мне человека? Если это сын, я не хочу его знать, тем более что он сам не признает меня матерью». – «Мария Сергеевна, мы привлекаем вас как свидетеля, вы обязаны согласиться на опознание». – «А в чем вы его обвиняете?» – «Во многих преступлениях, Мария Сергеевна, в серьезных преступлениях против народа и государства». – «Смертная казнь?» – «Не знаю, это решит суд». – «Так что же, вы хотите, чтобы я стала его палачом?»

Тут уже не до усмешки, полковник Гриднев. Именно так это и будет, если ты другими средствами не докажешь, что икс равен игреку.

В таком умонастроении и застает меня Галка.

– Сахаровы пошли в кинозал. Какой-то детектив, не то «Береговая операция», не то «Возвращение “Святого Луки”». Пошли, еще не началось.

– Не хочется. Старье. «Святого Луку» мы зимой в клубе видели. Занятно, но не убеждает.

– В чем не убеждает?

– В закономерной победе следствия. Не явись парень с повинной, и картина бы уплыла за границу, и бандит бы ушел.

– У нас тоже нет доказательств – одни подозрения.

– Будут и доказательства, – говорю я и рассказываю о двух просчетах Пауля Гетцке.

Галка задумывается.

– Идентичность почерка – это уже доказательство. Но будет ли экспертиза безоговорочной?

– Есть еще свидетельство Бугрова.

– А ты уверен в этом свидетельстве? Был ли Бугров очевидцем гибели Сахарова или только слышал о ней? И тот ли это Сахаров, что интересует нас? Может быть, это вообще не Сахаров, а по каким-то неведомым нам причинам только назвался Сахаровым: в плену многие меняли имена и фамилии, если документов не было.

– Типичный плюрализм, Галка.

– Что за штука?

– Множественность истин, имеющих одинаковое право на существование. Но истина-то всегда одна.

– А в чем она, эта истина? Может, это заблуждение, а не истина?

– Завтра узнаем.

– А сейчас иди в бар. После кино он с тобой в шахматы играть собирается. Не избегай его, чтобы не вызывать подозрений.

– Подозрения у него давно уже превратились в уверен-

ность. Разговор о Веверлее помнишь?

– По-моему, Тамарка ни о чем не догадывается.

– Наверное. Таких жен в свою жизнь не пускают... А в шахматы я с ним сыграю, даже с удовольствием. Еще один вариант психологической дуэли.

– Будь осторожен, Сашка.

– Не волнуйся. У нас дуэль без оружия. Состязание умов. И партию мы сыграем этюдную, с жертвами только на доске. Но аллегорическую. Гамбит Гриднева. – Мне почему-то смешно, хотя Галка даже не улыбается.

В баре пусто и прохладно, даже холодно после палубной жары: кондиционеры отпускают явный излишек прохлады. Поэтому вместо коктейля с ледяными кубиками в бокале беру кофе по-турецки с коньяком. За шахматами устраиваюсь в уголке с настольной лампой – идеальная обстановка для турнирных раздумий.

Партнера еще нет. Машинально делаю ход королевской пешкой и вспоминаю... А не сыграть ли мне ту же партию, какую играл с Паулем в его бывшей светелке на Маразлиевской? Памятная партия. Восстанавливаю в памяти ход за ходом – получается. Вот он, остроумнейший прорыв в королевскую ставку противника и не менее остроумная ее защита. Но будет ли Пауль сегодня играть именно так? Может, он давно забыл эту партию? Да и зачем мне дразнящий экскурс в прошлое? Чтобы еще раз поймать его на подброшенную наживку? Но Пауль неглуп и насторожен. Он будет рассу-ж-

дать примерно так: «Гриднев повторяет хорошо знакомую ему и мне позицию. По инерции шахматной мысли? Нет, конечно. Просто хочет лишний раз удостовериться, что я – это я. Значит, я должен сыграть иначе, как сыграл бы Сахаров, а не Гетцке. Обязательно иначе, даже проиграть, может быть. Расслабить Гриднева, заставить его усомниться в каких-то выводах, ведь доказательств у него нет – одна интуиция». Именно так и будет рассуждать Пауль и опять просчитается. Не на повторе партии хочу я поймать его, а на том, что он от повтора откажется.

– Сами с собой играете? – выводит меня из раздумий знакомый насмешливый голос.

Я смахиваю шахматы с доски и парирую:

– Нет, просто разбираю партию Спасский – Фишер.

– Конечно, выигрышную для Спасского?

– Конечно. Меня интересуют находки Спасского, а не его просчеты.

– Что верно, то верно, – говорит он, – надо уметь рассчитать все возможные варианты.

– Этого даже ЭВМ не может.

– Я не о шахматах, – говорит он и садится в кресло против меня. – Давайте начнем с середины партии, которую вы только что разобрали.

– Зачем? – недоумеваю я.

Но он быстро и уверенно расставляет фигуры в той самой позиции, которая только что была на доске. Не в партии

Спасский – Фишер, а в партии, сыгранной мною с Волошиным – Гетцке тридцать лет назад в оккупированной Одессе.

Я не могу скрыть своего удивления – настолько это для меня непонятно и неожиданно. Что он затеял? Маневр? Ход в игре? С какой целью? Во имя чего?

А он улыбается:

– Не ожидал?

Я все еще молчу.

– Твой ход, маркиз. Не пугайся. «Дорогу, дорогу гасконцам, мы с солнцем в крови рождены!» – Теперь он уже откровенно смеется – никакой бравады, продиктованной страхом или тревогой.

– Снял, значит, маску, – говорю я. – Пора.

– Между нами двоими – снял.

– Что означает «между нами двоими»?

– То и означает. Жен своих мы в этот предбанник не пустим. Для них я – Сахаров. И для моей и для твоей. Или ты уже рассказал по дурости?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.